

Михаил Волконский

Тайна герцога



Михаил Волконский
Тайна герцога

«Public Domain»

1912

Волконский М. Н.

Тайна герцога / М. Н. Волконский — «Public Domain»,
1912

«В конце тридцатых годов восемнадцатого столетия Невский проспект тянулся от Адмиралтейства, построенного Петром Великим, до моста на реке Фонтанной, который считался выездным пунктом города. Но уже и тогда город на самом деле не прекращался тут, и за Фонтанкой от моста застраивались дома по сторонам дороги к Александро-Невской лавре. Эти дома кончались длинным двухэтажным зданием на том месте, где теперь проложена Пушкинская улица, и в нем находилась лавка товаров незатейливого крестьянского производства, необходимых в домашнем быту. Деготь с баранками играл в этой торговле видную роль...»

© Волконский М. Н., 1912

© Public Domain, 1912

Содержание

I. Невский проспект	5
II. Соловей	7
III. Загадка	9
IV. Дело осложняется	11
V. Ночные тени	13
VI. Митька Жемчугов	15
VII. Дитя природы	17
VIII. Барон дает о себе знать	19
IX. Князь Шагалов	21
X. Ночное приключение	23
XI. В тайной канцелярии	25
XII. Подноготная	27
XIII. Так и сделали	29
XIV. Кому горе, кому удача!	32
XV. Герцог Бирон	34
XVI. Доклад	36
XVII. Струг навыверт	38
XVIII. Женщина	40
XIX. Резолюция	42
XX. Пирушка	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Михаил Волконский

Тайна герцога

I. Невский проспект

В конце тридцатых годов восемнадцатого столетия Невский проспект тянулся от Адмиралтейства, построенного Петром Великим, до моста на реке Фонтанной, который считался выездным пунктом города. Но уже и тогда город на самом деле не прекращался тут, и за Фонтанкой от моста застраивались дома по сторонам дороги к Александро-Невской лавре. Эти дома кончались длинным двухэтажным зданием на том месте, где теперь проложена Пушкинская улица, и в нем находилась лавка товаров незатейливого крестьянского производства, необходимых в домашнем быту. Деготь с баранками играл в этой торговле видную роль.

Дальше, к лавре, по сторонам дороги рос густой лес, где «шалили», как говорили тогда про грабежи разбойников и их нападения на проезжих.

Тут, в лесу, разбойники держались до самого царствования Павла Первого, который особым указом сделал распоряжение, чтобы лес вырубил на три сажени по сторонам дороги к Невской лавре, «дабы лихим людям не повадно было невзначай выскакивать и нападать на проезжающих».

Неподалеку отсюда была Ямская слобода, оставившая свой след и до сей поры в названии нынешней Ямской улицы. Тут были совсем свои особые нравы и даже праздники с занесенными и образовавшимися неведь откуда обычаями. Здесь царили разгул и лихва, олицетворенные прежде всего быстрой ездой ямщиков и внедрившиеся в их жизнь.

Ввиду всего этого местность за Фонтанкой, за исключением лишь самого берега реки, на котором были расположены летние дворцы богачей, не пользовалась хорошей славой, и народ здесь гулял шибко по кабакам, а баре и офицеры езживали сюда в трактиры и рестораны того времени, называвшиеся еще, по петровскому названию, «гербергами».

Здесь проезжие чувствовали себя за городом, а потому держались вольнее, и происходили постоянные безобразия – то есть «буйства», когда безобразил простой народ, и «шкандалы», как тогда называли «буйства» благородных.

Сам Невский проспект только по ширине не уступал нынешнему, а во всем остальном был так же далек от последнего, как теперешняя улица уездного города. Ни Аничкова дворца, ни других богатых домов еще не существовало, и «Невская перспектива», как тогда называли нынешний проспект, была окаймлена невзрачными деревянными строеньицами.

На месте нынешнего Казанского собора воздвигалась длинная церковь с куполом на крыше и со шпилем на колокольне, таким же, как на соборе Петропавловской крепости. У Полицейского моста, названного так потому, что тут было тогда здание полиции, стоял одноэтажный каменный театр, называвшийся «Оперным домом». Единственным украшением Невского были деревья, посаженные по обеим сторонам его в два ряда и подстриженные шаром, да Адмиралтейская игла со своим корабликом светилась, как и нынче, при закате в перламутровых петербургских сумерках.

Однако оживление на Невском царило и тогда большое. По бревенчатой мостовой, в иных местах подымавшейся, как клавиши, катили кареты богачей, раззолоченные, на высоких стоячих рессорах, с зеркальными стеклами в окнах, запряженные четверкой, а то и шестеркой цугом, с форейторами; тут же трусили берлины и брички господ средней руки и просто телеги, и шли обозы с кладью, товарами и зерном.

Богатства России с суши в обмен на предметы роскоши, подвозившиеся с моря, стягивались в петербургское болото, чтобы создать на нем каменный город.

Под деревьями по сторонам Невского двигалась пестрая толпа разнохарактерного люда, не объединенного тогда одним европейским костюмом. Наряду с русскими армяками здесь виднелись кафтаны иностранцев, халаты татар, типичное одеяние персов, чалмы турок и даже наряды придворных китайцев и других азиатов. Эти татары, турки и азиаты особенно пестрели свою одежду в тогдашней петербургской толпе и придавали ей необычайную живописность.

Часто попадались военные люди в своих высоких ботфортах, треугольных шляпах и мундирах с красными отворотами и обшлагами.

Дамы и барышни пешком по улицам не ходили, а только ездили в экипажах и гуляли в Летнем саду, на Царицыном лугу, бывшем тогда действительно лугом с цветами и кустиками, и в собственных садах, которые имелись при каждом барском доме.

В один из майских вечеров среди этой толпы пробирался молодой человек, одетый не особенно щегольски, но далеко не бедно, в кафтане немецкого покроя, что служило признаком несомненной солидности, так как легкомысленные модники того времени носили французские фасоны; в руках он держал высокую палку, с красивым золотым набалдашником. Шел он лениво и нехотя.

Знакомство у него было, по-видимому, большое, потому что он по пути несколько раз раскланивался со встречными. Впрочем, это было немудрено, так как общество Петербурга того времени было по численности не больше населения теперешнего губернского города, где все друг друга знают. Иван же Иванович Соболев, как звали молодого человека, принадлежал к старинному дворянскому роду, имел средства, считался вследствие этого хорошим женихом, а потому был принят везде особенно радушно и был знаком со многими.

Он шел, недовольно постукивая своей тростью и словно даже негодуя на чудный светлый майский вечер, продушенный запахом свежеразвернувшейся молодой листвы.

II. Соловей

Соболев шел и сердился на свою слабость, а эта его слабость состояла в том, что он никогда не мог отделаться от того, чтобы не согласиться на уговоры других людей сделать что-нибудь, чего самому ему вовсе не хотелось.

Так было и на этот раз. Сожитель Соболева, «бесшабашный» Митька Жемчугов, уговорил его отправиться за город, за Фонтанную, в герберг на попойку.

Сам Иван Иванович и вино-то не любил, а уж до попоек и «огульного», как он называл, пьянства и вовсе не был охотником, но по своей удивительной податливости согласился и дал слово, что будет сегодня вечером в герберге в назначенный час.

Обыкновенно в эти герберги, за город, ездили либо верхом, либо на тройке, у кого таковая, разумеется, была.

У Соболева тоже имелась собственная тройка, но он уступил ее на сегодня Митьке, который повез в ней целую компанию таких же, каким был и сам он, молодых людей. Иван Иванович сказал, что приедет верхом, но в последнюю минуту велел расседлать лошадь и отправился пешком, с явным расчетом сдержать свое слово, т. е. все-таки явиться в герберг, но с таким опозданием, чтобы застать попойку в самом разгаре, показаться лишь на ней и затем уйти.

Соболев шагал со своей длинной тростью с дорогим набалдашником под деревьями Невского проспекта, и ему было досадно и вместе с тем смешно: в самом деле, он «шел» в герберг, точно богомолка в монастырь по обету, по образу пешего хождения.

Положение было до того нелепо, что спроси кто-нибудь из встречных знакомых Соболева: куда он идет? – он, человек правдивый от природы и ненавидевший ложь, солгал бы, не решившись признаться, что направляется в герберг пешком.

Пока он шел по Невскому, его еще не оставляла некоторая бодрость, но когда он перешел цепной Аничков мост на Фонтанной и вступил в петербургское предместье – так называемую тогда Аничкову слободу, – всякая охота идти дальше оставила его, шаги замедлились, и он едва поплелся.

«Добро бы еще зима была, – рассуждал он, – ну, тогда, куда ни шло – погреться за компанию можно было бы! А то такой чудный вечер, тут только дышать и дышать воздухом, а не сидеть в душной комнате и пить вино в духоте табачного дыма».

Он живо представил себе внутренность герберга, пьяную компанию, бессмысленно шумные и якобы веселые, но на самом деле отвратительно надоедливые, всегда те же самые «холостые» разговоры, и ему заранее все это стало так мерзко, что он круто повернул направо, сам не зная куда, лишь бы не идти по направлению к гербергу.

Повернув, он ощутил, что с каждым шагом ему становится все лучше и лучше.

Мягкая грунтовая дорога под его ногами не пылила, потому что никто тут не ездил и пыли не подымал. Навстречу никто не попадался, жилья тут почти не было, а тянулись лишь сады, примыкавшие к стоявшим фасадом на Фонтанную барским дачам, а с другой стороны дороги были огороды.

Тут воздух был не похож на городской. Здесь дышалось легко, благодаря открытому месту и зелени садов.

Соболев шел, впивая в себя этот живительный воздух, и мирился теперь с тяжелой, неприятной и – главное – темной петербургской зимой.

Надо отдать справедливость – насколько зима неприглядна в Петербурге, настолько хорош тут весенний месяц май, словно поспешающий истомленных зимними сумерками людей вознаградить светом и теплом, когда солнце вдруг завернет в мае и начнет греть, как на юге, светя почти двадцать часов в сутки. Зелень, заждавшаяся тепла, словно спешит вос-

пользоваться им и раскидывается такой пышной листвой, что с нею не сравнится ни убранству пальм, ни других южных, обыкновенно пыльных и выгорающих растений.

Кто из русских был на юге, говорит, что хороши там деревья, а все-таки лучше нашей северной кудрявой зеленой березы нет ничего.

Соболев был с этим совершенно согласен, хотя сам на дальнем юге и не бывал никогда.

«Вот только соловья недостает», – подумал он, остановившись у частокола огромного густого сада.

И словно кто подслушал его мысли – над ним запел соловей, запел, защелкал и стал выводить такие трели, слышать которые, как показалось Соболеву, ему не доводилось до сих пор.

Соловей пел, а Соболев стоял и слушал, потеряв счет времени и, пожалуй, твердо не сознавая, где, собственно, он находится – на земле или в каких-либо иных, гораздо более воздушных и, пожалуй, отвлеченных пространствах.

Зеленые ветви, возвышавшиеся над частоколом, были так хороши, воздух был так чист, слух так ласкала песня соловья, что и глазам Соболева захотелось тоже красоты, тоже чего-нибудь необыкновенного, не этого глупого частокола, а того, что было за ним.

А было ли что там?

Любопытство распалилось, и Соболев, присмотрев в частоколе щель, перепрыгнул через канаву, отделявшую дорогу от частокола, и приложил глаз к щели.

III. Загадка

«Фу-ты, ну-ты! – думал Соболев, глядя сквозь щель в чужой сад и слушая не прерывавшуюся песню соловья с ее переливами. – Вот так штука! Такой красоты и ожидать нельзя на земле. Да где же это я в самом деле?!»

То, что увидел он по ту сторону частокола в щель, было поистине что-то волшебное.

Сад, едва покрывшийся листвою, блистал свежою, изумрудного зеленью газона. Сквозь деревья виднелись искусственные развалины как бы древнего замка, отражавшиеся в зеркальных водах пруда, куда бежал ручей из сложенной из гранита скалы, на которой стояла мраморная статуя Аполлона. Правее бил фонтан.

Усыпанные песком дорожки причудливыми извивами ползли вокруг пруда и загадочно терялись в зелени и гротах.

Вдали виднелись мостики, беседки, калитки. Все это имело такой вид, словно было сделано на чудесной декорации, явившейся чудом искусства.

Соболев привык к великолепию голландских садов и английских подстриженных и строгих в своей симметрии парков, но тут он видел в первый раз сад в так называемом французском вкусе и не мог не поразиться его капризной, лишенной всякого ранжира и правильности красотой.

Мягкий свет петербургского майского вечера и соловьиная песнь как нельзя лучше соответствовали волшебной-прекрасной обстановке сада.

Минутами Соболеву казалось, что все это было не на самом деле, а где-то на удивительном театре или, может быть, на картине. Он смотрел, любовался и вместе с тем ждал еще чего-то, веря в это свое безотчетное ожидание и забыв, что, вероятно, его положение прилипшего так к забору человека если и не вовсе подозрительно, то во всяком случае смешно, когда посмотришь сзади, со стороны дороги. Нет, об этом Соболев в ту минуту даже и не думал.

Ждать ему не пришлось долго. Конечно, такой сад не мог быть устроен зря за городом. Он должен был быть сделан для кого-нибудь, и кому-нибудь следовало гулять здесь. Так оно и вышло.

Вдруг на дорожке, – Соболев не мог отдать себе отчет, как это произошло, – показалось облачко шелка, розового, серого, воздушного, кружевного, песок закрипел, и у пруда, как видение, как неземное, нездешнее существо, появилась девушка.

Можно с уверенностью сказать, что если бы она даже не была красива, то при условиях, в которых увидел ее Соболев, она непременно должна была показаться ему небесною красотой.

Но на самом деле девушка была красива, и Соболев смотрел на нее, чувствуя, что дыхание остановилось у него в груди.

«Он увидел ее в первый раз! – подумал он, называя себя в мыслях в третьем лице. – Он влюбился в нее с первого же взгляда», – закончил он свои мысли и вдруг ощутил необыкновенную радость и легкость.

Ему это показалось чрезвычайно остроумно и смешно.

Девушка шла вокруг пруда одна, как бы едва касаясь песка дорожки, с не покрытою ничем головою, так что отчетливо были видны ее густые черные локоны, вившиеся кольцами и составлявшие, по-видимому, особенную ее прелесть.

«Да неужели это – не мечта, – стал сомневаться Соболев, – и я ее вижу такую, как она на самом деле есть, и она существует в действительности, и живет на той же земле, что и я?»

В это время девушка была на ближайшем расстоянии к частоколу и как бы в ответ на сомнения Соболева и словно притянутая магнитом его взгляда, обернулась в его сторону и

улыбнулась, очевидно, каким-то своим мыслям, потому что его, Соболева, спрятанного за частоколом, она, конечно, не могла видеть, да если бы и увидела, то не стала бы улыбаться незнакомому человеку.

Но по этой улыбке Соболев увидел почему-то, что девушка все-таки здешняя, «своя», и что она может радоваться жизни, соловью, майскому вечеру так же, как радуется всякий другой человек. И это нисколько не унизило ее в глазах Соболева, а напротив. Он чувствовал, что будь эта девушка только видением и исчезни вдруг пред его глазами, как это обыкновенно свойственно бесплотным духам, он сошел бы с ума от отчаяния, что она на самом деле не существует.

Но улыбка незнакомки рассеяла все сомнения.

Она прошла, прекрасная и стройная, оставив в сердце Соболева навсегда, как он думал, неизгладимое впечатление.

Долго еще стоял он у частокола, ожидал, не вернется ли красавица, но она не возвратилась, и Соболеву вдруг пришло в голову – не терять дольше времени и постараться узнать, кто она такая.

Дело было в том, что он, безусловно, знал в Петербурге всех девиц ее возраста, т. е. на выданье, так как они все бывали на балах, а Соболев не пропустил ни одного из последних и, конечно, заметил бы эту «девушку из сада», если бы она хоть раз показалась среди танцующих.

Да и сама обстановка, в которой она жила, казалась странною – этот загородный сад, чудесно обставленный и устроенный, и она одна в нем. И он так неожиданно странно увидел ее.

Соболеву казалось, что навести нужные справки очень легко: стоит только обойти на берег Фонтанной и там отыскать дом, которому принадлежит этот сад, и спросить, кто тут живет.

Семья, очевидно, не бедная, челяди, значит, много, а где много челяди, там за полтину можно разузнать все, что хочешь, и даже то, чего не хочешь...

И Соболев отправился на разведку, окончательно забыв и про герберг, и про Митьку Жемчугова.

IV. Дело осложняется

Легко было Соболеву предположить, что, обойдя на берег Фонтанной, он сейчас же узнает, кому принадлежит дом, к которому примыкает сад, и кто живет тут. Но на самом деле оказалось, что это не только трудно, но даже как будто и вовсе невозможно.

Впрочем, дом-то наш Иван Иванович отыскал и, судя по местоположению, это был тот самый дом; но по внешнему своему виду он совершенно не соответствовал роскошно разделанному и великолепно содержащемуся саду.

Дом был, правда, каменный, но имел вид почти полуразвалившегося; окна и двери в нем были заколочены досками; высокий деревянный, почти сплошной забор с забитыми накрепко воротами не позволял видеть, что делалось во дворе; калитка была заперта на крепкий ржавый замок, и ни души человеческой не было заметно тут.

Строение казалось необитаемым, по крайней мере, со времени Петра Великого.

В этом не было ничего удивительного, так как при постройке Петербурга Петром Великим был издан приказ дворянам непременно строиться в Петербурге и по этому приказу была начата постройка домов; однако последние или вовсе не приводились к окончанию, или же, если и достраивались, то стояли необитаемыми, потому что владельцев их можно было заставить «возвести – как было написано в указе – приличные столице нашей хоромы», но принудить переехать к неведомому морю и жить здесь было невозможно.

Было очевидно, что Соболев имел здесь дело с одним из таких домов, но в таком случае становилось невероятным решение загадки, что же такое этот сад, в котором гуляла неизвестная молодая девушка.

Соболев был из тех неукротимо-настойчивых людей, которых препятствия раззадоривают лишь сильнее и которые не любят отступать пред этими препятствиями.

Конечно, он и не думал отступать, но стал невольно в тупик пред тем, что же ему было дальше делать.

Он попробовал обратиться к соседям, но место было загородное, нелюдное и соседей близких тут не было.

На противоположном городском берегу реки Фонтанной тянулся пустынный лесной двор, так что и там спросить о том, чей это дом, не представлялось возможности.

Пытался Соболев как-нибудь проникнуть во двор дома, но это можно было сделать разве только перепрыгнув через забор, а последний был слишком высок для прыжка через него, и тут не росло ни дерева, на которое можно было бы влезть, не было ни шеста, ни лестницы.

Пробовал Иван Иванович прислушиваться, нет ли кого во дворе, пробовал стучать и в калитку, и в ворота, но все оставалось безмолвно, как будто он хотел проникнуть в мертвое царство.

Так провозился Соболев долго и не заметил, как прошло время. Опомнился он только тогда, когда совсем стемнело; тут лишь вспомнил он, что теперь май месяц, что в мае в Петербурге темнеет очень поздно и что, значит, теперь ночь, когда на мосту через заставу в город уже не пустят.

В то время не только въездные заставы и мосты закрывались в Петербурге на ночь, но и улицы заставлялись рогатками с дежурившими при них часовыми, которые опрашивали запоздавших прохожих, чьи они и куда идут.

Соболев поспешил к мосту и тут должен был убедиться, что действительно застава была уже закрыта.

Положение вышло очень неприятное. Обыкновенно молодые люди опозданием к заставе не стеснялись, а отправлялись тут же в загородный герберг и проводили там ночь

до утра; но Соболев был совсем не в таком настроении: о герберге и о пьяной компании он и подумать не мог.

Однако если не герберг, то приходилось провести ночь под открытым небом. Но Соболев совершенно не смутился этим. Он чувствовал такую как бы облегченность от всех условий земного, телесного мира, что даже обрадовался случаю очутиться вне этих условий, то есть в совершенно необычайном для обыкновенного человека положении.

К тому же закрытая застава давала ему возможность вернуться вновь к дому на Фонтанной, а так как ему этого очень хотелось, то он и не замедлил сейчас же вернуться.

Дом стоял по-прежнему угрюмый и пустынный и в наступившей теперь короткой ночной темноте был суров и непригляден.

Соболеву пришло в голову примоститься хорошенько у забора на травке и пробыть здесь до утра, с тем, чтобы посмотреть, не появятся ли хоть рано утром признаки жизни в таинственном доме.

«Ведь если здесь живут люди, – рассуждал он, – то должны же они иметь сношение с внешним миром!»

Это соображение подбодрило его, и он решил остаться до утра на своем посту.

V. Ночные тени

Сколько прошло времени, Соболев хорошенько не знал, но, должно быть, не особенно много, потому что стояли еще потемки, а в Петербурге в мае они непродолжительны.

Соболеву ясно послышался всплеск весел по Фонтанной, настолько определенный, что нельзя было ошибиться, что к берегу подходит лодка.

Это обстоятельство само уже по себе было и странно, и удивительно, потому что ночью нельзя было плавать по Фонтанной. Лодка, значит, пренебрегла запрещением.

Первое, что пришло Соболеву в голову: не лихие ли это люди, и он стал чутко прислушиваться.

Ясно было, что лодка пристала к берегу, послышался даже ворчливый голос. Соболев инстинктивно прижался к забору и прилег на траву с расчетом, что его в полупрозрачных потемках петербургской весенней ночи не будет видно. Сам же он, на фоне более светлой воды в реке, мог видеть, если не подробности, то общее очертание.

И вот он заметил, что от воды поднялись две фигуры, однако, далеко не похожие на лихих людей, какими, по крайней мере, представлял себе этих людей Соболев. Один из них был повыше, другой ростом меньше; на них были шляпы и темные плащи, в которые они были закутаны с головы до ног. Под плащом виднелись шпаги. Очевидно, это были люди дворянского сословия.

Соболев затаил дыхание в ожидании, что будет дальше.

Фигуры в плащах подошли широкими, уверенными шагами к калитке заколоченного дома, действуя, по-видимому, очень уверенно, точно они были тут свои, привыкшие здесь распоряжаться господом.

Тот, который был повыше, достал из кармана большой ключ; ржавый замок калитки заскрипел, но она отворилась затем без всякого шума. Люди в плащах, нагнувшись, прошли в нее, затем калитка вновь захлопнулась, замок щелкнул, и снова водворилась тишина.

«Нет, други, меня не надуешь!» – подумал Соболев, сообразив, что пусть незнакомцы проникли в необитаемый дом и не забыли запереть за собою калитку, преградив туда всякий дальнейший доступ, но ведь лодка-то, в которой они приехали, тут, и потому хоть что-нибудь можно будет узнать от гребца этой лодки.

Поэтому для Ивана Ивановича было делом одной минуты подбежать к берегу и спуститься к воде. Но, видно, таково уж было предопределение, что всем расчетам Соболева не суждено было осуществляться.

У берега лодки уже не было, а находилась она уже на середине реки, и Соболеву можно было только видеть, и то по неясным в темноте контурам, как она пристала к противоположному берегу и сидевший в ней гребец сложил весла, уселся поудобнее и опустил голову, собираясь, по-видимому, задремать в привычном для себя положении.

Соболев попробовал было крикнуть ему, но решительно никакого ответа не получил.

Тогда Соболев вернулся опять к забору, на свой выжидательный пост.

Если прежде, до появления этих людей в лодке, он терпеливо сидел тут и ждал без всякой определенной цели, то теперь и подавно он желал остаться на этом посту, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Так как лодка не уплыла, а только переправилась к другому берегу, можно было предположить, что приехавшие в дом отбудут назад; ведь в противном случае незачем было бы лодке ждать их.

И в самом деле через некоторое время – впрочем, к этому моменту небо уже осветилось рассветом – замок в калитке щелкнул снова, и опять те же двое в плащах вышли из нее. Более

высокий, запирая калитку опять на ключ, проговорил что-то очень тихо своему спутнику, на что тот ясно и довольно громко недовольно произнес по-немецки:

– Aber Donner Wetter!¹

Затем они направились к реке, и там раздался их троекратный посвист.

Лодка поспешно заплескала веслами, подошла на условный, видимо, зов, приняла пассажиров и поплыла по направлению к мосту.

Конечно, все, чему был свидетелем Соболев, оказывалось далеко не достаточным, чтобы разобраться и сделать какие-нибудь выводы, но на первый раз и этого все-таки было достаточно.

Говорят, что сумасшедшие и влюбленные необыкновенно хитры и сметливы в смысле применения к обстоятельствам, а Соболев, если не сошел еще с ума, то, несомненно, был влюблен и необыкновенно быстро взвесил и оценил, как можно было дальше воспользоваться тем, что только что произошло пред его глазами.

Пока что он решил назавтра, в ночь, опять прийти сюда закутанным в темный плащ и, если незнакомцы явятся снова на лодке и пройдут в калитку, спуститься к реке, свистнуть три раза так же, как сделали это они, и когда лодка пойдет на этот зов, вскочить в нее, а там уже заставить лодочника говорить будет пустяки.

Очень довольный этим создавшимся у него планом, Соболев, обдумывая дальнейшие его подробности, просидел, не сомкнув глаз, до утра, и когда наступило время пропуска через заставу, направился в город, не чувствуя, несмотря на бессонную ночь, никакой усталости, бодрый и довольный, совершенно не такой, каким был вчера, когда выходил из города.

Вступив в город, он направился прямо к своему дому, расположенному в одном из прилежавших к Невскому не совсем правильных закоулков.

¹ Однако, черт возьми (нем.).

VI. Митька Жемчугов

Принадлежавший Ивану Ивановичу Соболеву дом был деревянный, но на каменном фундаменте. Его постройка отличалась солидностью и крепостью, но красоты в ней никакой не было.

Это было хорошо приспособленное жилье, одно из тех, какие строили без всяких планов и архитекторов помещики на Руси, в усадьбах, путем векового опыта, делая такие приспособления, что жить было и уютно, и в высшей степени удобно. Такой вот усадебный, со всеми удобствами и службами дом построил отец Ивана Ивановича в Петербурге, переехав для того, чтобы быть замеченным царем Петром и, если можно, выслужиться в большие чины, главным образом своею любовью ко всем заграничным новшествам.

Заграничные новшества отец Ивана Ивановича любил искренне, но большой карьеры у царя Петра не сделал, хотя и был отличен им по заслугам, так что если в вельможи и не попал, то занял порядочное место в петербургской администрации, в одной из коллегий.

Иван Иванович был коренным петербуржцем: он родился, вырос и воспитался в Петербурге.

Когда его отец три года тому назад умер, он остался полным хозяином и петербургского дома, и большого поместья в Тульской губернии, которым управлял через приказчика, то есть главным образом получал и тратил присылаемые приказчиком доходы и писал ему энергичные, побудительные письма, когда эти доходы запаздывали.

Иван Иванович числился записанным на службу, как это полагалось по установленному Петром Великим правилу, но не служил, потому что строгие петровские обычаи стали уже забываться, и молодые дворяне позволяли себе вольности, предпочитая службе развлечения в театрах, на гуляньях, на балах.

Само общество, кроме представительства, ничего не требовало от них, а Соболев был не лучше, но и не хуже других; вот все, что можно было сказать про него.

Мать Соболева умерла вскоре после его родов, не вынеся петербургского климата и болотных его испарений, и его воспитала француженка, мадемуазель Ла-Пьер, сначала только гувернантка, а потом и хозяйка в доме. Отец Ивана Ивановича был с нею в связи и находился всецело под ее башмаком, однако, жениться на ней не женился и мачехи из нее для сына не сделал. Но это не помешало мадемуазель Ла-Пьер быть все-таки самой настоящей мачехой, зря тиранить мальчика и заставлять насильно являться к ней при посторонних с лицемерною ласкою и благодарностью за якобы расточаемые с ее стороны заботы о нем.

Единственно, чему француженка научила Ивана Ивановича – это говорить отлично по-французски, и за это он был благодарен ей.

Впрочем, сосчитываться с нею ему самостоятельно не пришлось, так как отец незадолго до своей смерти прогнал француженку, приревновав ее не без основания к молодому кучеру.

У Соболевых по Тульской губернии были соседи Жемчуговы, небогатые, мелкопоместные дворяне. Сам Жемчугов был слабенький, приверженный к водке человек, живший, что называется, из рук своей жены, Федосьи Тимофеевны, управлявшей с необыкновенным финансовым гением теми крохами, которые были у них в качестве состояния.

Этих стариков Жемчуговых Иван Иванович совсем и не знал, равно как ему не было известно, что у них есть сын. Но однажды он с какой-то невероятной оказией – чуть ли не с обозом пшеницы – получил письмо, шедшее до Петербурга несколько месяцев.

В этом письме Федосья Тимофеевна без всякого подобострастия и с большим достоинством написала о том, что ее сын Митька должен ехать в Петербург и что она просит Ивана Ивановича принять его к себе. По тону письма эта просьба граничила с уверенным требо-

ванием, так как была основана на праве дворянского гостеприимства и на дружбе матери Ивана Ивановича к самой Федосье Тимофеевне.

Митька Жемчугов действительно явился и оказался вовсе не таким неотесанным деревенским оболтусом, как можно было ожидать. Напротив, он держал себя очень уверенно и так, что ясно было, что он не ударит ни пред кем лицом в грязь.

Оказалось, что Митька подолгу жывал в Москве, пообтерся там, был грамотен, достаточно начитан и образован настолько, что трудно было выяснить, чего он не знал, хотя одинаково нельзя было с точностью определить, что, собственно, и знал он. Понимать он как будто понимал все европейские языки, но не говорил ни на одном из них.

Пил он много и крепко, и в этом как будто сказывалась наследственность его отца, хотя слабоволием он не отличался, пил мужественно и даже был характера твердого и решительного, унаследовав его, очевидно, от матери.

Митька приехал к Соболеву и попросту, без всяких церемоний, поселился у него.

Иван Иванович сошелся с ним с первых же дней, полюбил его, и они стали приятелями, так что пребывание Жемчугова в соболевском доме вошло, так сказать, в обиход и естественное и непреложное течение вещей.

Чем, собственно, занимался Митька – решить было трудно, но он куда-то ходил, у него были какие-то отдельные свои знакомства, хотя больше времени он, по-видимому, проводил в пьянстве – по крайней мере, так было видно из его рассказов.

Деньги у него водились, но тратил он их исключительно на себя лично, а, собственно, жил на счет Соболева у него в доме. Впрочем, на чай и на водку он соболевским дворовым не жалел и поставил себя с ними так, что они боялись его больше, чем Ивана Ивановича, и ухаживали за ним старательнее и лучше, чем за своим хозяином.

Несмотря на то, что Жемчугов жил на счет Соболева, тратя свои деньги исключительно на собственное удовольствие, он держался с Иваном Ивановичем так, точно относился к нему несколько свысока.

VII. Дитя природы

Подходя к своему дому после ночи, проведенной у заколоченного дома на Фонтанной, Соболев не был уверен, застанет ли он Митьку дома, или нет. У Митьки часто было обыкновение закатиться в герберг на целую ночь, а иногда и пропасть дня на два и на три. Никогда Митька никаких подробностей об этих своих отлучках не рассказывал и всегда отговаривался, что сильно кутил, и потому перезабыл все.

Соболев по своему обыкновению направился в дом не через парадное крыльцо, а через черное, и на дворе уже увидел, что Жемчугов вернулся: кучер мыл заложенную вчера тройкой бричку.

– Вернулись? – спросил он кучера.

Тот тряхнул как-то особенно головой и с полуусмешечкой ответил:

– Привезли!

«Хорош, значит, был!» – подумал Соболев и почему-то ему стало ужасно весело.

Он легко вбежал по ступенькам в стеклянную галерею, тянущуюся со двора вдоль всего дома, и по знакомой дороге направился было в столовую горницу, на ходу велел старому крепостному Прохору подать туда себе самовар; но в прихожей комнате пред столовой, смежной с помещением Митьки, он наткнулся на растянувшееся на полу тело.

Лежавший вскочил, выхватил висевший у него на поясе кинжал и, оскалив зубы, как-то особенно прорычал:

– Я тебя зарежу.

Соболев невольно вскрикнул больше от неожиданности, чем от испуга, и отступил.

Черномазый человек в длинном одеянии, с барашковой шапкой на голове, оскалив зубы, лез на него и продолжал рычать:

– Я тебя зарежу!

– Да отвяжись ты, дьявол!.. Откуда ты явился сюда? – громко и сердито произнес Соболев и позвал: – Эй! Кто-нибудь!..

Дверь из комнаты Жемчугова отворилась, и Митька просунул голову.

– Ты что тут буянишь, Ахметка? – остановил он черномазого. – Ведь это – сам хозяин дома!.. – показал он на Соболева.

– А это кто ж такой? – спросил Соболев про Ахметку.

Жемчугов, очень недовольный, что его потревожили после «встряски», как он называл свои кутежи, хмуро поглядел на Соболева и сердито ответил:

– Не видишь разве?.. Это – дитя природы!

– Какое дитя природы?

– Плюнь, все равно, потом расскажу, – произнес Митька и затворил дверь, но сейчас же высунулся опять и спросил: – А ты куда пропадал ночью?

– Тоже после расскажу! – ответил Соболев и пошел в столовую.

Спать ему вовсе не хотелось; напротив, он чувствовал необычайный подъем жизненности.

Он заварил себе большой стакан сбитня, принялся за пухлую, еще теплую, только что испеченную сдобную булку и стал раздумывать о том, рассказывать ли Жемчугову то, что произошло с ним ныне ночью, или нет. С одной стороны, он чувствовал, что тут, несомненно, нужна помощь приятеля, а с другой – ему хотелось сохранить тайну и – главное – таинственность всего происшедшего, похожего на мечту, чтобы не называть всего этого простыми словами и не развенчивать таким образом своих мечтаний.

Однако не успел он прийти еще к какому-либо определенному решению, как в столовую пришел Митька Жемчугов.

– Нет, не могу, не спится! – сказал он. – Уж раз разбудили, так все пропало!..

Он был в туфлях на босу ногу и в полотняном запашном халате.

Соболев, которого не покидало благодушно-веселое настроение, посмотрел на его заспанную, небритую физиономию и расхохотался.

– Чего ты зубы скалишь? – проговорил Митька и, в свою очередь, рассмеялся, чувствуя, что настроение Соболева передается и ему.

– Откуда же у тебя эта образина? – стал опять спрашивать Соболев.

– Нет, ведь я почему держу тебя или себе? – продолжая смеяться, заявил Митька, как будто он действительно «держал при себе» Соболева. – Ведь вот вернешься так домой, кажется, в голове кислота одна, ан, поглядишь на тебя и снова жить захочется!.. Ну, а в новой жизни можно еще шкалик опрокинуть... Эй, Прохор!.. – крикнул он. – Дай-ка, братец, чем-нибудь желудок согреть... простудил я его вчера вечером!..

– Да ведь вчера тепло было! – заметил Соболев, вспоминая с особенным удовольствием этот вчерашний вечер.

– Вот потому-то, что было тепло, мы и пили венгерское со льдом... как тут желудка не простудить? Прохор!..

Но последний в это время нес уже графинчик с полынной настойкой и две рюмки. Одну из них он налил для Жемчугова и, наклонив графинчик над другой, обернулся к Соболеву с вопросом:

– И вам прикажете?

– Нет, мне не надо! – ответил тот, прихлебывая сбитень.

– Ну, так вот! – начал рассказывать Митька, залпом хлопнув рюмку настойки и подставляя ее снова Прохору под графинчик. – Скверная, кажется, произошла вчера со мной история.

– Скверная?.. – вопросительно протянул Соболев. – А именно?

– Да, кажется, придется на дуэли драться... Видишь ли, как было дело!

И он рассказал, как вчера вечером в герберге, после того как всей компанией, в которой он находился, было выпито изрядное количество венгерского, появилась компания немцев-военных и стала тоже пить. Немцы допились до того, что начали приставать к очень мирно и скромно сидевшему в уголке тому самому Ахметке, который только что выказал свою свирепость Соболеву. Немцы очень ловко кидали в него хлебными шариками. Ахметка сначала думал, что это – мухи, и отмахивался, но когда догадался, в чем дело, полез драться, выхватил кинжал и прорычал: «Я тебя зарежу!» Немцы, словно этого только и нужно было им, как будто даже обрадовались, что раздражили азиата, и с гиком накинулись на него, желая избить. Очевидно, подобные избиения входили у них в программу удовольствия. Их было четверо, и таких рослых, что Ахметка сейчас же сообразил, что ему с ними не справиться, втянул голову в плечи и попытался было дать тягу; но они схватили его, и несдобровать бы Ахметке, если бы не вступился за него Жемчугов со своей компанией. Против них немцы идти не решились, отпустили Ахметку, и один из них, по-видимому, старший, обратился к Жемчугову с вопросом, дворянин он или нет. Тот назвал ему себя, и немец отрекомендовался тоже: «Барон Цапф фон Цапфгаузен». Затем он расспросил, где можно найти Жемчугова, и сказал, что даст ему о себе знать. С бароном пока этим дело и кончилось, но Ахметка, как истинное дитя природы, за оказанную ему помощь почувствовал непреодолимое сердечное влечение к Жемчугову и не хотел от него отойти, прежде чем не узнает, что он может сделать для него в благодарность и кого нужно зарезать для него.

VIII. Барон дает о себе знать

Весь этот рассказ Митьки Жемчугова о происшедшей вчера с ним пьяной истории до того был противоположен настроению, в котором находился Соболев, что он сейчас же решил ни о чем не рассказывать.

– Ну, а теперь говори, отчего ты надул меня – не явился в герберг – и отчего дома не спал ночь? – спросил его Митька.

Соболев, твердо решивший ничего не рассказывать, не успел придумать какое-нибудь другое объяснение и постарался ответить уклончиво:

– Так!.. Я был в одном месте.

– Понимаю!.. – подхватил Жемчугов. – Интрижка, значит! Ну, если ты ради интрижки не явился вчера в герберг, тогда это еще можно простить... А что она? Хорошенькая?..

Иван Иванович на этот вопрос только нахмурился и ничего не ответил.

«Ишь, должно быть, и в самом деле забрало!..» – подумал Митька и решил не настаивать в дальнейших вопросах, а выждать, пока Соболев сам не расскажет. С ним это была самая лучшая манера.

– А не пойти ли все-таки поспать? – заключил Жемчугов, вставая и потягиваясь.

– Да ты разве мало спал? – спросил Соболев. – Ты разве не с вечера вернулся?

– Да нет же, засиделись вчера в этом герберге!..

– Послушай, да как же ты миновал заставу и ночные рогатки на улицах?..

Тут Митька как будто смутился и ответил привычной уже своей отговоркой:

– А почему я знаю? Пьян был... ничего не помню!.. Привезли как-то...

Это было довольно странно, но Соболев, в свою очередь, не расспрашивал, потому что сам только что отделался довольно необстоятельной отговоркой.

– Ну, пойдем спать! – согласился он.

Они оба поднялись, чтобы разойтись по своим комнатам, но в это время бледный и взволнованный Прохор вбежал в комнату и шепотом произнес, весь дрожа:

– К нам «слово и дело»...

В то время этот возглас был особенно страшен, потому что по так называемому «слову и делу» хватали и влекли в Тайную канцелярию всякого, не считаясь с его общественным положением. Достаточно было на улице закричать на кого-нибудь «слово и дело», чтобы подвергнуть его аресту.

Конечно, тех, кто зря кричал «слово и дело», подвергали наказанию, но оно было сравнительно ничтожно и – главное – не могло искупить те неприятности, которые претерпевали арестованные по пустому наговору.

Дело обыкновенно усложнялось, когда по «слову и делу» являлись чин Тайной канцелярии с военной силой к кому-нибудь на дом для обыска.

– Что за вздор! – спокойно сказал Митька. – На кого еще тут «слово и дело»?

В это время Ахметка просунул в дверь свою мохнатую рожу и убежденно спросил:

– Кого нужно резать?

Соболев не мог дать себе еще отчет в том, что случилось, и при виде этого дитяти природы не мог удержаться, чтобы не расхохотаться.

– Что же тут делать?.. Неужели пропадать нам? – захныкал Прохор.

– Как что? – сказал им Жемчугов. – Надо впустить чинов канцелярии!..

– А я нарочно двери запер, – проговорил Прохор и чуть слышно добавил: – Может, у вас есть что... дайте, я спрячу...

– У тебя ничего нет подозрительного? – вдруг серьезно обернулся Жемчугов к Ивану Ивановичу.

Тот отрицательно покачал головой и ответил:

– Ничего!

– Наверное?

– Наверное.

– Ну, тогда пойдем, примем незваных гостей, – с какой-то странной усмешкой проговорил Жемчугов и пошел сам отворять запертые Прохором наружные двери, в которые слышался уже неистовый стук снаружи.

Дом Соболева был оцеплен рейтерами, и явившийся чиновник Тайной канцелярии с офицером вошел с привычною ему в таких случаях бесцеремонностью.

– Здравствуйтесь, добро пожаловать! – встретил его даже весело Митька. – Вы, собственно, к кому пожаловали?.. Ко мне или к хозяину дома сего Ивану Ивановичу Соболеву?..

– «Слово и дело» заявлено на Дмитрия Яковлевича Жемчугова, – сказал чиновник.

– Так это я сам и есть! – заявил Митька. – Так вот пусть господин офицер пока побудет с хозяином, а мы, – обратился он к чиновнику, – пойдем ко мне в горницу и там вы произведете обыск.

И как ни было странно, что, по-видимому, с места начал распоряжаться тут сам Жемчугов, а не чиновник всесильной Тайной канцелярии, но этот чиновник оставил офицера с Соболевым, а сам пошел с Митькой в его комнату.

Иван Иванович очутился в чрезвычайно глупом положении, оставшись вдвоем с незнакомым ему офицером. По счастью, на столе стоял графин с полынной настойкой, которою уболагодворялся Митька и от которой не отказался офицер, несмотря на раннее время.

– Служба у нас уж такая! – почему-то произнес он, как бы себе в оправдание, хотя решительно было непонятно, почему его служба обязывала пить полынную настойку с самого раннего утра.

Офицер оказался неразговорчив, и Соболев был очень рад, когда сравнительно в очень скором времени чиновник вышел от Жемчугова и кликнул с собой офицера. Тот выпил последнюю рюмку на прощанье и последовал за чиновником, которого Жемчугов проводил до самых дверей.

И моментально все стало по-прежнему: рейтары были сняты со своих постов вокруг Соболевского дома и ушли, чиновник с офицером уехал, а Митька сказал Соболеву:

– Ты знаешь, что все это значит?..

– Ну? – переспросил тот.

– Это значит, что барон Цапф фон Цапфгаузен дал мне знать о себе.

– Разве это был его секундант? – наивно спросил Соболев.

– Я сам ждал от него секунданта, ан, оказалось, что барон Цапф фон Цапфгаузен вместо того, чтобы развестись со мной поединком, предпочел сделать на меня донос в Тайную канцелярию, будто я вчера в герберге поносил ее величество непристойными словами и задел площадною бранью высокую особу герцога Бирона!..

– Но ведь этого не было? – спросил Иван Иванович.

– Да, этого не было, и барон Цапф фон Цапфгаузен солгал, думая, по-видимому, что мне трудно будет вырваться из лап Тайной канцелярии.

– Но он ошибся в расчетах.

– Да, брат, не так страшен черт, как его малюют!..

Соболеву показалось вполне естественным, что Жемчугова не тронули, раз за ним не оказалось ничего дурного, потому что он был слишком далек от распоряжков тогдашней Тайной канцелярии. Но те, кому были известны эти распоряжки, должны были удивиться всему происшедшему, как чему-то из ряда вон выходящему. В том, что с Жемчуговым обошлись так легко после сделанного на него доноса и даже не произвели у него обыска, крылась несомненная тайна, разгадать которую было трудно.

IX. Князь Шагалов

Митьке с Соболевым, видно, не суждено было в этот день успокоиться. Едва освободились они от незваных гостей из Тайной канцелярии и хотели было опять отправиться каждый к себе, как к окну с улицы подъехал верхом молодой офицер и постучал в него.

– Митька! Это – князь Шагалов! – сказал Соболев, поднимая окно. – Князь, заходите к нам, мы оба тут.

– В нетрезвом состоянии!.. – перехватил Митька, стараясь придать себе разгульную развязность. – Идем, князь! Мы тут полынной настойкой себе живот согреваем!

– Ну, против соболевской полынной не устоять! – проговорил князь, знавший, что полынную настойку Соболеву присылали из деревни и что такой ароматной, как его, не было во всем Петербурге.

Он повернул лошадь и поехал во двор, а Митька поспешно шепнул Соболеву:

– Не говори ты ничего и никому, что у нас были из Тайной канцелярии, да и вообще говори обо мне, что я пьян всегда, и только... На этом, брат, никогда не ошибешься.

– Здравствуйте, господа, – проговорил, входя, князь Шагалов. – Я рад, что застал тебя, – обратился он к Митьке, – мне надо с тобой, пожалуй, даже и посоветоваться...

– Ну, что еще?.. Опять натворил что-нибудь? – спросил Жемчугов.

– Да ничего особенного! Видишь ли, вчера раздурачились мы очень – так как-то вожжа под хвост попала... Собралось у меня несколько человек новое цимлянское пробовать!.. Только пришло кому-то в голову взять длинную веревку и пойти под окнами на улицу делать измерения этой веревкой!..

– Это на Невской-то першпективе? – спросил Соболев.

– Ну, да! Ведь я там живу! – подтвердил князь. – Под самыми деревьями аллеи... Стали мы делать измерения, ну, разумеется, собралась толпа, глазают, что такое. Тогда я взял зрительную трубу, ну, и с полною серьезностью навел ее на небо. Зрители из толпы, конечно, тоже стали глядеть туда, ну, а в это время остальные наши, схватив веревку за концы, потянули ее по земле под ноги толпе... Ну, забавно вышло – крик... шум... падают... Это привело всех в особенно хорошее настроение, и мы продолжали цимляниться, как вдруг приезжает ко мне адъютант немец и смеет мне делать официальный выговор, зачем я вчера в театре у немцев со словарем был!..

– Как со словарем? – удивился Соболев.

– Да так: взял огромный словарь, и как на сцене немецкий актер слово скажет, я, ну, отыскивать в словаре – «вертербух», что это слово значит. Ну, конечно, листы шуршат, немцы недовольны, зачем я мешаю слушать. В антракте ко мне подходит сам полицеймейстер, спрашивает, кто я такой. Я сказал ему, а он говорит адъютанту: «Запиши!» Тогда я спрашиваю его, а кто он такой. Он говорит: «Полицеймейстер», а я говорю Володьке Синицыну – он рядом со мной сидел: «Володька, запиши – полицеймейстер!» Ну, так вот по этому поводу приезжает ко мне адъютант, понимаешь ли ты, братец ты мой, с выговором. «Ну, постой же!» – думаю. Встретили мы его очень почтительно, выслушал я выговор, а затем мы стали накачивать немца!

– Ну, и накачали? – спросил Митька.

– Накачали.

– Вот это так! – одобрил Соболев.

– Накачали мы немца, вымазали ему седло столярным клеем, усадили верхом и отправили!.. Говорят, вышла потеха: по дороге к казармам адъютант к седлу приклеился, и его пришлось вынимать из рейтуз при всем честном народе!.. Сколько хохота было!.. Понимаете, ведь расседлать лошадь нельзя, иначе он, пьяный, с седлом полетит, а отодрать рейтузы

от седла тоже невозможно. И вот его, голубчика, надо было распоясать, сапоги снять, да так из рейтуз и вынуть!..

Соболев с Митькой расхохотались, представив себе фигуру адъютанта в таком поистине странном положении.

– Ну, что ж, верно дуэль будет? – сказал Жемчугов. – Адъютантом-то кто у вас?

– Барон Цапф фон Цапфгаузен...

– А-а... он!.. – воскликнул Митька. – Ну, этот-то драться на дуэли не будет!

– Не будет? – переспросил князь. – Почему не будет?..

– Потому что у него, должно быть, нервы слабы очень!

– А ты разве знаешь его?

– Знаю! – коротко сказал Жемчугов.

– Так ты думаешь, он обратит все дело в шутку?

– Ну, что он сделает – не знаю, а только мстить он тебе будет – это наверное!..

– Ну, этого я не боюсь!.. – махнул рукой князь Шагалов. – Ведь на меня все немцы в Петербурге злятся, я, кажется, каждому из них досадил... Так одним больше, одним меньше... я думаю, если бы немцы только могли, так меня давно живьем съели бы...

– И зачем вы это делаете? – раздумчиво произнес Соболев.

– Терпеть не могу немцев; хотя сам не знаю, почему! Уж очень они сильно насели на нас сверху.

– А разве наши, русские, лучше? – спросил Соболев.

– Да не знаю... Впрочем, я ведь ничего... я так только... ведь подуматься... Уж очень с немцами оно смешно выходит.

Несколько секунд приятели помолчали.

– А что, у этого барона Цапфа есть какие-нибудь связи? – спросил вдруг Митька.

– То есть с кем, собственно?

– Да хотя бы со двором герцога?!

– Вероятно!.. Ведь они, немцы, все друг друга тянут.

– Нет, так – нет ли какой-нибудь особенно близкой связи?

– Это можно узнать.

– Узнай ты мне, пожалуйста, мне это очень нужно.

– А что, сегодня играют в оперном доме?.. Надо бы пойти туда...

– В самом деле. Я пойду покупать билет! – проговорил Жемчугов. – Может, и тебе взять? – спросил он у Соболева.

– Нет, я не могу! – ответил тот. – У меня вечер сегодня занят!..

– Хе-хе... – протянул Митька, – может, не только вечер, но и ночь опять!.. У него интрижка завелась! – пояснил он князю.

– Нет, брат, ты это брось! – вдруг вспыхнув, серьезно произнес Соболев. – А то я про твою интрижку, – подчеркнул он, – стану рассказывать!..

Митька пристально посмотрел на него, как бы отметив себе что-то, и перевел речь на театральное представление. Они стали говорить про оперный дом.

Х. Ночное приключение

Днем Соболев выспался, затем сходил в баню, плотно пообедал и сел читать книгу в ожидании вечера.

Митька исчез из дома в то время, как Иван Иванович еще спал, и не пришел к обеду. Это бывало с ним часто, и потому беспокоиться не имелось никаких оснований.

Чем ближе подходило время к вечеру, тем длиннее тянулось оно для Соболева. Книгу он взял так только, чтобы иметь какое-нибудь занятие, но никак не мог сосредоточиться на ней и то поглядывал на часы, то поднимал окно и старался предугадать по небу, хороша ли будет погода и не пойдет ли дождь. Последний для него был бы серьезной помехой, и, кажется, ни один хозяин в сенокос не боялся так дождя, как боялся его сегодня Соболев. Но жаркий день был таков, как и накануне, и вечер наступил такой же светлый и прекрасный, как и вчера.

Соболев отыскал в своем гардеробе совсем такой плащ, какой ему было нужно, то есть очень похожий на плащи, в которые были закутаны вчерашние незнакомцы. На всякий случай он заострил шпагу, взял свою длинную трость и отправился по знакомой уже дороге к частоколу сада.

Он простоял тут до того, пока стемнело, но на этот раз никого не увидел в саду, хотя последний блистал так, как вчера, своей роскошью, и, как вчера, пел соловей.

Скрепя сердце, Соболеву пришлось перейти на берег Фонтанной и заняться там более определенными наблюдениями.

Тут надо было ждать. Ожидание казалось томительным, но зато оно увенчалось успехом, и приблизительно в то же, как и вчера, время опять незнакомцы подплыли в лодке, вышли из нее, подошли к калитке, опять щелкнул замок, они вошли и заперли за собой калитку.

Соболев выждал немного и, сам хорошенько не сознавая, что делает, с какой-то как бы особенно наглядной безрассудностью, но твердым шагом, направился к реке.

Лодка уже была на той стороне и причаливала к пустынному берегу лесного двора.

Соболев свистнул три раза, совершенно так же, как делали это вчера два незнакомца в плащах.

Он нарочно сегодня целый день практиковался в этом посвисте.

Человек в лодке встрепенулся, схватился за весла, поднял их, но приостановился, как будто ему пришло в голову, что он ослышался.

Соболев просвистел еще раз. Тогда гребец ударил веслами, и лодка быстро поплыла к тому месту, где стоял Иван Иванович.

Когда она подошла к берегу, он одним прыжком вскочил в нее, оттолкнулся и сказал гребцу по-немецки:

– Вперед!..

Положение было слишком необычайно. Сидевший в лодке гребец был, очевидно, вполне далек от мысли, что в этом месте и в это время может явиться еще кто-нибудь, кроме тех, кого он только что привез сюда в таком же точно, как и они, плаще. Он повинился и стал грести, видимо, привыкнув слушать приказанья и умея исполнять их, не рассуждая.

Хотя в течение всего этого дня Соболев все время думал о своем ночном предприятии, но делал это как-то слишком мечтательно, так что не выработал заранее никакого определенного плана действий. Он хотел только вскочить в лодку и очутиться с гребцом, чтобы заставить его говорить. Но ему не пришло в голову обдумать, как это надо было сделать, и теперь, когда его мечты увенчались успехом, то есть когда он вскочил в лодку и сидел пред

таинственным гребцом, он почувствовал, что его положение необычайно глупо и что он не знает, что ему делать и как начать расспросы.

У него был заготовлен на всякий случай кошелек с деньгами, и в своих мечтах он смутно представлял, что, очутившись в лодке, обнажит шпагу, кинет кошелек и предложит гребцу выбор: или взять деньги и рассказать все, что он знает, или быть убитому... Но, сидя в лодке на низенькой скамейке с высоко поднятыми коленами, вынуть из ножен шпагу было неловко, да и управляться с нею, сидя, казалось нелепым.

Однако что-нибудь надо было делать.

Соболев ограничился тем, что вынул кошелек, бросил его гребцу и сказал:

– Вы можете взять себе этот кошелек и должны за это рассказать мне, кому принадлежит эта лодка и кто в ней и откуда ездит в заколоченный дом!.. Если вы не сделаете этого, то я выну свою шпагу и убью вас...

Вся эта длинная рацея именно вследствие своей длинноты была сама по себе слишком мало страшна как угроза, да и произнес ее Соболев не совсем решительно. Но вышло совсем уж несуразно и неловко, когда гребец спросил по-немецки: «Что вы говорите?» – и, разинув рот, уставился на Соболева, сообразив, очевидно, что пред ним сидит чужой человек.

Соболев перевел свои слова на немецкий язык, но так как он плохо владел этим языком, то его перевод вышел не только совсем не угрожающим, но даже просто смешным.

– О, да! – сказал гребец. – Я вам, конечно, все сейчас расскажу и совсем без ваших денег, так только, из одного удовольствия приятной беседы с вами!.. Дайте мне только разогнать хорошенько лодку, а то, когда работаешь веслами, разговаривать трудно.

Соболев тут только увидел, что этот сидевший на веслах немец был не простой гребец, а человек совсем иного сорта, которого кошелек с деньгами, пожалуй, мог и обидеть.

«Однако, кажется, я впутался в глупую историю! – подумал Соболев, начиная уже жалеть о своей неосмотрительности. – И зачем я это все затеял?»

Немец ходко заработал веслами и, работая, повторил еще несколько раз:

– О, да! Я расскажу вам все...

Еще несколько ударов весел – и они стали приближаться к мосту, на котором были застава и караул.

– Вот вы сейчас все узнаете, – сказал немец, поворачивая лодку к берегу.

«Что это он хочет делать?» – стал соображать Соболев, но прежде чем он мог хорошенько опомниться, лодка уже пристала к берегу, сидевший на веслах немец быстро выхватил спрятанный у него за поясом пистолет и выстрелил в воздух.

С моста бросились к ним несколько солдат. Соболев был схвачен и отведен в караулку. Там немец предъявил какую-то бумагу, и Соболев слышал, как этот немец приказал именем герцога Бирона отвести его, Соболева, немедленно в Тайную канцелярию.

Ивана Ивановича взяли под караул, отобрали от него шпагу и повели без дальних разговоров.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» – недоумевал Соболев.

Он-то воображал, что гребцу нечего будет делать иного, как выбирать между кошельком и острием шпаги, а, вышло совершенно не так!..

Впрочем, такова уже жизнь человеческая, что в ней всегда случается как раз наоборот тому, на что рассчитывают и надеются люди.

XI. В тайной канцелярии

Соболева ввели в ту самую Тайную канцелярию, при одном упоминании о которой приходили в ужас не только простые обыватели того времени, но и лица высокопоставленные и имевшие доступ даже к самой государыне.

О Тайной канцелярии ходило множество рассказов, и об ужасах, творившихся там, передавали с опаской; но все-таки передавали, что там пощады не дают никому. Там истязали, мучили людей, вытягивали на дыбе, жгли огнем и драли плетьюми...

Соболев, шагая теперь ночью среди солдат, чувствовал себя совсем не в своей тарелке. Он был зол на себя за то, что сделал глупость и повел себя необдуманно, однако, отчаянию не предавался. Ему сейчас же пришло в голову, что если Митька так счастливо сегодня утром отделался от Тайной канцелярии, то, вероятно, и ему посчастливится как-нибудь отбояриться, убедив, что в его поступке никакого злого умысла не было, а все это он-де проделал ради одной лишь шутки.

Его привели в канцелярию и ввели в большую низкую комнату с кирпичным полом, освещенную тусклым фонарем с огарком сальной свечи.

В канцелярии, несмотря на ночь, не спали и ходили какие-то люди. Они о чем-то переговаривались, обращались к караульному, и Соболев слышал несколько раз повторенные разными голосами слова: «По приказанию самого герцога!»

Прошло немного времени – и его ввели в следующую комнату. Она была тоже большая, с кирпичным полом. Здесь тоже сальная свечка тускло освещала ясеневое дерево стол с бумагами, чернильницей с торчавшими в ней гусиными перьями и сидевших за столом двух человек.

Один из них, лет пятидесяти, с тщательно выбритым подбородком, в военном сюртуке и в немецком парике, нюхал табак из золотой табакерки; другой был гораздо моложе, и в нем Соболев узнал того самого человека, который сегодня утром приходил к нему в дом по доносу барона Цапфа на Митьку Жемчугова.

Узнав этого чиновника, Соболев очень обрадовался, как бы сразу уверившись, что теперь пойдет все отлично, и на вопрос старшего о том, кто он такой, назвал себя и добавил, показав на чиновника:

– Меня знает вот этот господин... Он сегодня был у меня в доме!

Но чиновник со своей стороны решительно никакого сочувствия Соболеву не выказал, а, напротив, довольно сурово и поспешно проговорил:

– Вы, сударь, совершенно ошибаетесь, и я вас совершенно не знаю!

– Но меня знает очень хорошо Дмитрий Яковлевич Жемчугов, который может засвидетельствовать обо мне, – сказал Соболев. – Потом знает еще князь Шагалов и многие другие...

– Об этом вас пока не спрашивают, – перебил его старший. – Отвечайте только на вопросы! Расскажите, как было дело и за что вас арестовали...

– За что меня арестовали, я не знаю, а дело было так! – ответил Соболев и чистосердечно и правдиво рассказал, что вчера, возвращаясь из-за города, он опоздал на заставу, через которую его не пропустили; не желая проводить ночь где-нибудь в герберге или на постоялом дворе, он пошел гулять и тут увидел двух незнакомцев с их лодкой и то, как они входили в заколоченный и, по-видимому, необитаемый дом.

– Где этот дом? – спросил старший.

Соболев указал самым подробным образом местоположение дома и затем продолжал рассказ вплоть до того, как его арестовали по приказу таинственного гребца.

Он думал, что его затем сейчас же и отпустят, но вышло совершенно не так. Его отвели через двор в каменный каземат, вонючий и грязный, с решетчатым окном и с кучей грязной соломы в углу на полу.

«Ну, что ж делать! – рассудил Соболев. – Так, так, так!.. Пусть будет, что будет!»

И он лег на солому.

Когда Ивана Ивановича увели из комнаты, где его допрашивали, и чиновник со своим старшим остались наедине, то этот старший обратился к своему подчиненному и, втягивая в нос понюшку табака из золотой табакерки, проговорил:

– Так его светлость герцог изволят ночью в лодке ездить в заколоченный дом?.. А мы и не знали этого!

– Я знал об этом, ваше превосходительство! – ответил чиновник. – То есть мне было дано знать от одного из наших наблюдающих при дворе герцога, что его светлость ночью изволят выезжать в лодке... Мною был сделан наряд для того, чтобы проследить эти отлучки...

– Как же вы можете учреждать наблюдения за его светлостью? – усмехнулся старший и прищурился.

– В интересах самого герцога, ваше превосходительство, для охраны от лихих людей! – ответил младший и тоже усмехнулся.

– Да разве что так!.. А кто был в наряде?

– Жемчугов.

– Митька?

– Он самый.

– Неужели он не дознался?.. Ведь он, кажется, самый способный?..

– Ему помешал вчера барон Цапф фон Цапфгаузен, который привязался к нему в пьяном виде.

– Да ведь этот барон сделал на Жемчугова донос.

– Самому герцогу, ваше превосходительство. Надо, конечно, Митьку выручить, потому что донос вздорный и облыжный.

– Ну, разумеется! Вы заготовьте к завтра доклад.

– Я послал сейчас за Жемчуговым.

– Для какой надобности?

– Ведь он живет в доме у Соболева, которого вы только что изволили допрашивать.

Они – приятели.

– А что мы будем делать с этим Соболевым?

– Что, ваше превосходительство, прикажете, но, во всяком случае, нельзя нам забывать, что мы через этого Соболева получили весьма важное сведение о ночных поездках герцога в заколоченный дом.

– Да, я подумаю, как поступить.

– А пока Соболева держать у нас?

– Пожалуй, придется. Ведь герцог о нем, наверное, сам спросит.

– Мне кажется, ваше превосходительство, что этот Соболев не все говорит, что знает?!

– Что ж, вы хотите расспросить его постороже?

– Строгость всегда можно употребить, но пока можно будет удовольствоваться разговором с ним Митьки Жемчугова.

– Ну, хорошо, поступайте, как знаете! Это дело я пока поручаю вам, а теперь я пойду.

– Слушаю, ваше превосходительство! – заключил подчиненный и проводил начальника до дверей.

ХII. Подноготная

Эти двое людей, допрашивавшие Соболева, были, судя по молве, самые страшные из всех деятелей XVIII века на Руси.

Старший был сам начальник Тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков, выслужившийся без всякой протекции и связей до высоких чинов.

Он был сыном бедного дворянина Новгородской губернии, рано осиротел, отличался страшной физической силой и высоким ростом. В 1700 году, в бытность Петра Великого в Новгороде, молодой Ушаков, в числе прочих недорослей из дворян, был представлен царю, и тот записал его в Преображенский полк. Здесь Андрей Иванович быстро обратил на себя внимание своею службою и через семь лет был уже капитаном. Императрица Екатерина I произвела его в генерал-поручики. Императрица Анна пожаловала ему звание сенатора и генерал-аншефа.

Младший, его подчиненный, был тоже известный Степан Иванович Шешковский, тогда еще лишь начинавший свою карьеру, но впоследствии бывший сам начальником Тайной канцелярии при императрице Екатерине II.

Проводив начальника, Шешковский вернулся к столу, не торопясь разложил бумагу, попробовал на ногте перо, обмакнул его в чернильницу и принялся писать.

Дверь отворилась, и в комнату без доклада, как свой человек, вошел Митька Жемчугов.

– Что еще? Зачем я понадобился? – спросил он, протягивая руку Шешковскому. – Экстренное дело какое-нибудь?

– Есть и экстренное дело! – ответил Шешковский, продолжая писать. – Садись, сейчас кончу, расскажу.

Жемчугов сел, но ему не терпелось.

– Ты о бароне Цапфе с начальником говорил? – спросил он.

– Говорил.

– С самим генералом?

– С самим.

– Надо, чтобы этому Цапфу нагорело.

– Нагорит! – проговорил Шешковский, продолжая писать.

– Так в чем же дело? – спросил его Митька, когда он кончил наконец свою бумагу.

– Дело вот в чем. Попался твой Иван Иванович Соболев.

– Да что ты говоришь?

– Арестован по приказу герцога.

– За что?

– За то, что исполнил возложенное на тебя поручение.

– Как так?

– Да так!.. Пока ты вчера пьянствовал...

– Постой! – перебил Митька, задетый за живое. – Ты знаешь, я никогда не пьянствую, а только делаю вид и слышу пьяницей, и все для того лишь, чтобы лучше скрывать то, что делаю!.. Бесшабашного пьяницу Митьку трудно заподозрить в чем-нибудь... Ну, и вчера сборный пункт у нас был назначен в герберге. Оттуда я хотел разослать на посты своих для наблюдения по Фонтанной, а с частью их думал отправиться в лодке сам по реке, под видом как бы катания гулящей компании, и для этого, то есть для того, чтобы правдоподобнее было, сказал Соболеву, чтобы и он явился в герберг. Ну, а тут вышла история с этим бароном...

– Да чего ты сцепился с ним?

– Да нельзя, братец! Он хорошего человека обижал – Ахметку-татарина... Ну, просто прелесть какой человек, этот Ахметка!..

– Но послушай, у тебя ведь было серьезное дело?..

– Так ведь в нем же никакого спеха не было... я знал, что оно не уйдет, так как герцог каждую ночь катается...

– Знаешь, Митька, везет тебе!.. Все дела, за которые ты только брался, как-то удавались тебе помимо тебя самого! Что для других было бы непростительным промахом, глядишь, у тебя выходит великолепно!.. Постой-ка!.. Да уж не ты ли это направил своего Соболева на всю эту махинацию и через него таким образом сделал наблюдение?.. – произнес Шешковский, вдруг как бы спохватившись и проникновенно глядя на Митьку.

Но тот не пожелал слукавить и выдать простую случайность за результат своей сообразительности.

– Нет, – сказал он, – на этот раз просто повезло! Я Соболева ни на что не направлял.

– Вот я и говорю, что тебе всегда везет... Счастливая рука у тебя!.. За это и Андрей Иванович тебя любит... Сегодня с ним насчет барона совсем и разговаривать не пришлось! Он так-таки сам и сказал, что будет докладывать об этом деле герцогу завтра же...

– А с Соболевым как же произошло все? Шешковский прочел показание Ивана Ивановича, только что записанное.

– Тут не все мне ясно! – произнес Жемчугов. – Видишь ли: что он мог делать за городом, пред тем как опоздал на заставу, если он не пришел к нам в герберг, хотя туда направился из дома вечером... Это надо выяснить.

– Генерал предлагал даже спросить со строгостью.

– Ну, зачем со строгостью? Мы и лаской с ним покончим.

– А он не осведомлен о том, что ты имеешь отношение к Тайной канцелярии?

– И не подозревает ни о чем!

– Так как же ты с ним переговоришь?

– Да очень просто: пройду сейчас к нему...

– А под каким предлогом?

– Ну, не знаю, не все ли равно?.. Скажу, что так это здесь полагается, чтобы приходили свидетели для опознания, что ли, его личности... А не то вот что: вели запереть меня вместе с ним, я скажу ему, что меня тоже арестовали из-за него...

– Ну, хорошо, так и сделаем. Только, понимаешь, тут нужно знать всю подноготную.

XIII. Так и сделали

Соболев спал, растянувшись на соломе, так как был неприхотлив; он спал так крепко, что и не слышал, как в его камеру вошел и был заперт Митька Жемчугов, когда же последний стал будить его, то он долго не мог очнуться и, протирая глаза, спрашивал Митьку:

– А-а!.. Ты уже вернулся?..

– Да проснись ты!.. – будил его Жемчугов. – Пойми, что мы в каземате Тайной канцелярии.

В решетчатое окно светили уже предрассветные сумерки, и в каземате было настолько светло, что можно было все разглядеть.

– А?.. Да!.. – очнулся наконец Соболев. – Постой!.. А как ты сюда попал?..

– Меня, брат, тоже заперли.

– Заперли?

– Ну, да!.. Утром отделаться удалось, а сейчас, когда тебя захватили, забрали и меня.

– И посадили нас вместе?

– А это, видишь ли, – шепотом стал говорить Митька, – у них такая сноровка, чтобы тех, кто вместе арестован, сажать в один каземат; тогда, думают здесь, арестованные наверное будут разговаривать о деле, а тут их и подслушивают, и таким образом узнают все. Понимаешь?..

– Но ведь нам-то с тобой, – воскликнул Соболев, – скрывать решительно нечего; ведь мы же ничего дурного не сделали! Так мы можем говорить громко!

– Ну, хорошо. Но только скажи, пожалуйста, как же это ты пошел на такое дело и один-одинешенек! Хоть бы со мной посоветовался!..

– Да какое же это дело?.. Ведь это так, пустяки!..

– А, впрочем, и о пустяках можно было поговорить со мной... мы ведь, кажется, никогда исключительно умными делами с тобой не занимались?

– Ну, видишь ли, я думаю, что нас завтра отпустят!..

– Ну, это едва ли!..

– Отчего же едва ли?

– Да оттого, что тут замешан сам герцог...

– А ты почему знаешь?

– Да мне сказали, что меня арестуют, как и тебя арестовали, по приказу самого герцога...

– Да, вот это я понять не могу!.. – простодушно проговорил Соболев и рассказал затем все, что с ним произошло, точь-в-точь так же, как уже знал обо всем этом Жемчугов из прочитанного ему Шешковским показания.

Это убедило Митьку в том, что Соболев в своем показании ничего не солгал.

– Но позволь, – сказал он, – что же ты делал за городом вплоть до того, как закрыли заставу?.. Где ты шлялся и почему не попал в герберг?

– Да, видишь ли, я, собственно, в герберг и пошел...

– Ну?..

Соболев замаялся. Ему не хотелось рассказывать все. Ему жаль было так же, как было жаль сегодня утром, расстаться со своей тайной, и ему казалось, что как только он откроет эту свою тайну даже Митьке Жемчугову, своему другу и приятелю, так точно что-то отычется от него.

– Послушай! – заговорил опять Митька. – Ты пойми – тут дело серьезное, и мне надо знать все подробности!.. Ведь если замешался сам герцог...

– Я вот не понимаю, при чем тут герцог? – живо перебил Соболев, ухватившись сейчас же за возможность отклонить разговор в сторону.

– Мы это сейчас выясним. Ты говоришь, на веслах сидел немец?

– Ни слова не понимавший по-русски.

– То есть желавший говорить с тобой только по-немецки?

– Ну, да!

– Ну, это еще ничего не значит... он мог говорить и понимать на всех языках и все-таки отвечать только по-немецки. Он сильно картавил?

– Да.

– Ты у него на правой руке, на указательном пальце, не заметил железного кольца?

– Да, именно, он, когда греб, держал так руки, и я видел у него железное кольцо, черное. Я еще внимательно пригляделся, желая определить, что у него на пальце.

– Ну, так и есть, это был он!

– Кто?

– Да сам герцог.

– Этот картавый с кольцом?

– Нет, один из тех, которые вошли в дом; вероятно, тот, кто был поменьше ростом, потому что если на веслах сидел немец картавый и с железным кольцом на пальце, то, кроме герцога, никого в лодке не могло быть.

– Но зачем же герцогу ездить ночью в этот таинственный дом?

– А это – не нашего ума дело. Мы и то, кажется, с тобой слишком много знаем.

– Но, видишь ли, для меня это очень важно!

– Что для тебя важно?

– А вот зачем герцог ездит...

– Да тебе-то не все ли равно?

– Нет, мне не все равно! – ответил Соболев и опять замолчал.

Ужасная мысль пришла ему в голову. Ему вдруг как бы стало все понятно: и зачем тот дом был заколочен, и почему ржавый ключ защелкивал замок в калитке, и зачем приезды герцога в этот дом были обставлены такой таинственностью. Но неужели это могло быть на самом деле? Ведь если его светлость герцог Бирон приезжал ради красавицы, гулявшей в этом чудном саду, то, конечно, он должен был скрывать свои посещения и являться сюда только ночью, с особенными предосторожностями, а самый дом, где была скрыта красавица, обставить так, чтобы и в голову никому не пришло, что тут живут.

Но сама красавица... Неужели со своим младенчески-прекрасным и чистым лицом, со своей ангельскою красотой она могла принимать у себя отвратительного, чуть ли не в отцы ей годившегося герцога?

Но кто же она, откуда взялась и как и где мог герцог Бирон обольстить и присвоить себе это нездешнее по своей красоте, неземное существо?

Но иначе не могло быть.

Соболеву стало ясно все, и он в отчаянии поник головою.

– Что с тобой? – спросил Митька, испугавшийся не на шутку – такая бледность покрыла лицо его приятеля и такое выражение горя отразилось на нем.

– Нет, Митька, я не переживу этого! – вырвалось наконец у Соболева, и слезы потекли у него по щекам, и он заплакал жалостно, навзрыд, как плачут маленькие дети.

– Да что с тобой? – повторил Жемчугов. – Какая, право, муха укусила тебя?

– Нет, Митька, не муха, – продолжал всхлипывать Соболев, – а, представь себе, этот герцог, этот злодей... он... ах, сказать тебе не могу!.. Он ездит по ночам в этот дом для свиданий...

– Для свиданий? С кем?.. – удивленно спросил Митька.

– Ах, если бы ты знал, как она хороша, как прекрасна и молода!.. Понимаешь, кажется, когда смотришь на нее, то забываешь, что ты тут, на земле, а не где-нибудь в другом, лучшем мире... И вдруг к ней... ездит на свидания по ночам герцог Бирон!.. Нет, это пережить невозможно...

XIV. Кому горе, кому удача!

Митька иронически усмехнулся и спросил:

– Да ты почему знаешь об этом? Ты разве видел ее?

– Видел... – ответил Соболев.

– И влюбился?

– В нее нельзя не влюбиться!.. Стоит лишь увидеть...

– Да не может быть!

– Клянусь тебе.

– Но где же ты мог ее видеть?

– Да ведь я из-за этого и опоздал на заставу.

– А-а! Ты из-за этого опоздал на заставу!

И мало-помалу Митька своими вопросами заставил Соболева рассказать подробно, как он случайно заглянул в щель частокола, как увидел сад и как, наконец, показалась в этом саду та, которой он не забудет уже всю жизнь и которую «отнял у него» герцог Бирон.

– Понимаешь, видал я девушек и женщин до сих пор, – рассказывал Иван Иванович, – но все они – ничто пред нею...

– Так, брат, все всегда думают, – усмехнулся Жемчугов.

– Нет, Митька, я – не «все»!.. Уверю тебя: такой, как она, другой нет и не может быть на свете.

– И это все говорят... тоже...

– Ну, мне все равно... теперь я знаю, что все погибло для меня, а там пусть говорят, что хотят... Ты знаешь, я теперь рад, что попал в Тайную канцелярию и что мы сидим теперь в каземате.

– Ну, ты за себя говори, а меня оставь! Я хочу выбраться как можно скорее.

– А мне все равно... теперь для меня все кончено... не жить мне больше!..

– Отчего же не жить?

– Пусть делают со мной, что хотят!.. Пусть взводят, какие хотят, обвинения – я оправдываться не буду... Все кончено...

– Ну, погоди еще!.. Может быть, тебе так только показалось, а на самом деле оно и не так вовсе... Ты мог ошибиться домом.

– О, нет!.. Сад принадлежит именно к забытому дому, куда входил герцог...

– Ну, что ж, и это ничего... все-таки тебе это не помешает познакомиться с твоей красавицей.

– Но это невозможно!

– Для истинной любви ничего невозможного нет.

– Ты думаешь?

– Истинная любовь творит чудеса.

– И ты думаешь, что мне удастся пробраться к ней?

– Отчего же нет?

– Но герцог!

– Что герцог?

– Ведь все-таки она принадлежит ему.

– Если это и так, то, как ни грустно, все-таки тут ничего нет такого ужасного!.. Ведь она не знает о твоей любви, ни даже о твоём существовании.

– А ты можешь себе представить, что она когда-нибудь узнает?

– Отчего же нет? Говорю тебе...

– Ну, тогда я хочу жить!..

– Вот то-то и оно!..

– Ты мне обещаешь помогать?

– Обещаю.

– Благодарю тебя! Ты знаешь, мы были до сих пор друзьями, но теперь ты мне такой друг, такой друг!.. Я просто тебе сказать не могу, какой ты мне друг... Но только вот что, Митька милый: дай ты мне одно обещание, одно обещание – крепкое свое слово, что ты не станешь рассказывать о моей любви – понимаешь? – никому, что это останется тайной между нами до гроба!..

– Постой! Почему же тайной?

– Так... чтобы никто не знал...

– Ни даже та, которую ты любишь?

– Тсс... и не говори об этом, и не смей!

Дверь в это время отворилась, и грубый голос крикнул:

– Дмитрий Жемчугов, к допросу!

Митьку вывели из каземата или – вернее – сделали только вид, что вывели, а на самом деле это была лишь комедия для него.

Его встретил в дежурной комнате Шешковский, который был дежурным сегодня в канцелярии на ночь и которому надоело сидеть одному. Поэтому он послал за Жемчуговым в каземат под предлогом допроса. Впрочем, тут играло также роль и нетерпение Шешковского узнать поскорее подробности дела.

– Ну, что, разузнал? – спросил он как только вошел Жемчугов.

– Все до ниточки, – ответил тот и передал все подробности, рассказанные Соболевым.

Шешковский весело потер руки от удовольствия и воскликнул:

– Ведь если все это подтвердится, то его светлость герцог Бирон в наших руках.

– Надо только Соболева высвободить. Понимаешь, он со своей влюбленностью, золотой человек, будет в наших руках, – сказал Митька.

– Да, он будет полезен, – согласился и Шешковский.

– Ну, еще бы!.. Так вот надо, чтобы Андрей Иванович постарался о нем завтра же.

Шешковский подмигнул Жемчугову и успокоительно произнес:

– Постараемся!

XV. Герцог Бирон

Эрнст Иоганн Бирон, избранный, по настоянию императрицы Анны Иоанновны, в 1737 году герцогом Курляндским после смерти герцога Фердинанда, не оставившего потомства, возвысился не в силу каких-либо своих дарований или талантов, а ввиду невероятного счастья, которое выпало на его долю в жизни.

Он решительно не имел никаких нравственных качеств для того, чтобы стоять во главе правления над Россией. От природы он был труслив, мстителен и обладал менее, пожалуй, чем средним умом. Одно у него было исключительным, а именно: он цепко и ревниво умел обставить личные свои интересы и с необыкновенной последовательностью приносить в жертву этим личным интересам все, что было только в его власти. А так как в его власти была целая Россия, то она должна была вся служить господину всесильному герцогу.

В истории России случалось, что, словно ей в наказание, возвышались и получали огромную власть люди мелкие, трусливые и шумные, делавшие все возможное для самовозвышения и употреблявшие на это всю силу своей огромной власти, но падавшие затем с высоты, на которую они взбирались не по праву, как с сокрушенной ударом молнии башни.

Герцог Эрнст Иоганн Бирон, возвеличенный волею императрицы Анны Иоанновны, «управлял» Россией в качестве председателя рабски послушного ему кабинета министров.

Его управление было жестоко, и эта жестокость проявлялась особенно тогда, когда дело касалось личности самого Бирона. Все русское не только поносилось невозбранно, но даже такое поношение поощрялось. За поругание православной веры не взыскивалось и даже оскорбление величества только тогда каралось, когда оно связано было с какой-нибудь выходкой против герцога. Что же касалось – не говоря уже об оскорблении самого герцога, – малейшего неблагоприятного отзыва о нем, то за такое деяние мучили беспощадно и подвергали разорению, заточению, а то и смертной казни. Ни положение, ни заслуги пред отечеством не могли защитить людей, навлекших на себя неудовольствие временщика.

Этот временщик, Эрнст Иоганн Бирон, зазнавался до того, что «трактовал» от имени России с иностранными государствами, принимал иноземных гостей, с которыми разговаривал его брат, как бы уполномоченный от властелина российской империи, каковым почитал себя Бирон.

Он учредил особый «доимочный приказ» и безжалостно выколачивал недоимки, обращая их не в государственную казну, а в секретный фонд. Имевшиеся в его распоряжении секретные деньги Бирон тратил исключительно на то, чтобы упрочивать свое положение, свою личную власть, и покупал на эти деньги льстивые похвалы себе, в особенности, у людей, которые были возле государыни.

Эти его клеветы, купленные на казенные деньги, конечно, связывали собственное свое благополучие с благополучием всесильного герцога и старались служить ему, доходя до лакейской угодливости.

У герцога Бирона был свой двор, и попасть к этому двору или просто быть хотя бы приняту там, считалось, если не более почетным, то гораздо более интересным, чем побывать в большом дворце императрицы Анны Иоанновны.

Забываясь исключительно только о себе и о своем благополучии, Бирон смотрел на каждое государственное дело только с точки зрения того, какую пользу это дело может принести ему лично.

Его дочь носила походя бриллиантовые браслеты в несколько тысяч ценю, сам он горстями швырял золотые, когда это приходило ему в голову, жаловал на галере гребцам, когда катался, вдвое против того, что давала сама государыня, и носился со своей персоной, заботясь о ее удобствах более, чем о нуждах российского государства.

Императрица Анна Иоанновна, окруженная клевретами Бирона, думала, что в России все обстоит благополучно, и не желала передать власть в другие руки, боясь, что будет хуже. Это боязнь чего-то неопределенного, худшего со стороны Анны Иоанновны укрепляла положение Бирона, пожалуй, еще прочнее, чем неизменное личное расположение государыни к временщику.

Носясь со своей персоной, Бирон капризно выбирал себе квартиру, каждый раз роскошно отделявая ее себе на казенный счет. В конце концов он поселился в малом летнем дворце Петра Великого, в Летнем саду.

Этот дворец был не особенно обширен, но поместителен, и главное его преимущество для герцога состояло в том, что он находился возле большого дворца, построенного Анной Иоанновной в Летнем же саду, со стороны Невы, для себя.

В этом месте, т. е. где теперь стоит решетка Летнего сада с часовней, при Екатерине Первой были построены для торжеств по случаю бракосочетания великой княжны Анны Петровны с герцогом Голштинским большая деревянная галерея и зал с четырьмя комнатами по сторонам. Зал имел одиннадцать окон по фасаду, вдоль набережной Невы. В 1731 году императрица Анна велела сломать этот зал и на его месте выстроить новый дворец. Он был одноэтажный, но очень обширный и отличался чрезвычайно богатым убранством, которое можно было видеть сквозь зеркальные стекла окон, бывшие тогда редкостью².

Таким образом, Бирон, поселившись в малом дворце Петра Великого в Летнем саду, находился по соседству с императрицей и жил с нею как бы в усадьбе, отделенной от остального Петербурга Невой, рекой Фонтанной и огромным Летним садом и Царицыным лугом, покрытым тогда кустарниками, прудами, фонтанами и дорожками.

Здесь Бирон чувствовал себя как бы в большей безопасности и отсюда мог как бы свободнее отдавать свои беспощадные приказания.

А эти приказания были беспощадны, потому что Бирон с самой пугливой подозрительностью и раздражительным самолюбием соединял неумолимую месть. Не было ничего легче, как навлечь его подозрение или оскорбить это его самолюбие нескромным словом. Ни один житель Петербурга того времени, да и не только Петербурга, не мог быть уверен, что с ним станется завтра, и вставший утром со своей постели человек не мог сказать с уверенностью, не придется ли ему ночевать в каземате на соломе.

² М. Пыляев. «Старый Петербург».

XVI. Доклад

Начальник Тайной канцелярии, генерал-аншеф и сенатор Андрей Иванович Ушаков, явился к герцогу с докладом в определенный утренний час, оставив свою карету у ворот Летнего сада и пройдя через него пешком.

Стоявшие у входа во дворец Бирона рейтары отдали по воинскому артикулу генерал-аншефу честь, а гайдуки, толкавшиеся в прихожей с герцогскими скороходами, встретили Ушакова как своего, с глубоким поклоном, тем более, что среди них было трое, служащих в Тайной канцелярии.

Ушаков поднялся по лестнице в приемную, заглянул туда и, увидев, что она полна жаждавшими приема у герцога чиновными лицами, прошел в маленькую, знакомую ему, смежную с площадкой лестницы комнатку. Он не любил тереться на людях в приемной без толку, время у него было рассчитано, и он знал, что герцог примет его, не заставив ждать, а там, в приемной, сидели лица, которые приезжали туда целые месяцы подряд каждый день с тем только, чтобы иметь честь постоять в приемной Бирона и не быть принятыми.

В маленькую комнату к Ушакову вошел немец, не старый на вид, но и не молодой, хорошего роста и сильный по фигуре, с железным кольцом на указательном пальце правой руки.

– Добрый день, господин генерал! – проговорил он по-немецки, сильно картавя.

– Скажите, – спросил Ушаков, – это вы были, Иоганн, вчера с герцогом в лодке ночью и отправили ко мне в канцелярию какого-то человека?..

Немец нахмурил брови и ответил опять по-немецки:

– Генерал должен знать, что не имеет права меня ни о чем спрашивать, а я не имею права ничего отвечать ему.

– Но я спрашиваю для пользы герцога!

– Герцог сам сейчас будет говорить с генералом и скажет все, что нужно для пользы его светлости.

Этот короткий обмен русско-немецких фраз и не особенно дружелюбный тон их ясно показал, что между генералом Ушаковым и тем, кого он называл так просто «Иоганном», существовала, несомненно, подавленная вражда.

Из кабинета герцога раздался звонок, и Иоганн, приотворив маленькую, заделанную под обивку стены дверь, сказал Ушакову:

– Пожалуйста.

Андрей Иванович, не робея и не выказывая никакой особенной торопливости, вошел в кабинет.

Бирон сидел у окна, за письменным столом. На нем были сафьяновые туфли, чулки, короткие плисовые брюки, белая рубашка с раскрытым воротом, лиловый шелковый халат на белой подкладке и высокий французский парик.

– Здравствуйте, генерал, – любезно встретил он Ушакова. – Ну, кажется, у нас хорошая погода?

– По-видимому, да, ваша светлость! – улыбнулся Андрей Иванович с таким видом, будто относит эти слова не к солнечному дню, а к настроению самого Бирона.

– У вас много дел, генерал?

– О, нет! Самые пустяки! – ответил Ушаков тем тоном и теми словами, которыми всегда отвечали, отвечают и будут отвечать опытные докладчики, когда у них именно предстоит серьезный разговор с тем, кому они докладывают.

– Ну, тем лучше, если пустяки! – весело сказал Бирон.

– Сегодня ночью, по приказанию вашей светлости, был доставлен некоторый человек. Что прикажете с ним делать?

– А как его зовут?..

– Точный допрос и расследование еще не произведены... Кажется, захваченный на первом же допросе без пристрастия назвал себя как-то, но этому веру дать нельзя!

– А он давал какие-нибудь показания?

– Настолько сбивчивые, что понять ничего нельзя, так что даже нельзя было выяснить, при каких обстоятельствах он был взят.

Ушаков уже знал, что выяснение этих обстоятельств едва ли будет приятно Бирону, которому навряд ли захочется, чтобы начальник канцелярии, хотя бы и Тайной, знал, что он куда-то ездит ночью.

Уловка Андрея Ивановича, тем-то и державшегося, что он никогда не делал ни одной неловкости, произвела отличное впечатление на Бирона, и последний, совсем повеселев, снова спросил:

– Так вам даже не известно, при каких условиях он был взят?

– Насколько я мог судить, ваша светлость, Иоганн катался по Фонтанной на лодке, к нему пристал этот человек, они повздорили, и Иоганн именем вашей светлости отдал приказ арестовать этого человека.

– Да, вот именно так это и было! – подтвердил Бирон.

– И вашей светлости угодно подтвердить распоряжение Иоганна?

– О, да, я подтверждаю!

– Слушаю-с. Конечно, я не смею рассуждать о том, сколь опасно такое полномочие распоряжаться именем вашей светлости...

Бирон прищурился и усмехнулся.

– Ну, да, я знаю – господин генерал не любит моего Иоганна! – сказал он по-немецки.

– Я имею в виду только пользу службы и вашей светлости, – сказал как бы даже строго Ушаков. – Так прикажете допросить арестованного?

– Ну, что там допросить!.. Он болтает всякий вздор... просто немедленно надо без всяких разговоров кончить с ним и чтобы его не было!..

Это было сказано так определенно, что Ушакову и возразить было нельзя. Да это и было бы ни к чему, так как Андрей Иванович знал по опыту, что Бирон в таких случаях непреклонен, да и несомненно было, что тут герцогу требовалось хоронить концы в воду.

Участь Соболева была решена.

XVII. Струг навыверт

– Что еще у вас? – спросил герцог.

Андрей Иванович спокойно вынул свою золотую табакерку, понюхал табак и ответил:

– Еще, ваша светлость, я хотел доложить о бароне Цапфе фон Цапфгаузене...

– Да, генерал... что такое было на днях об этом бароне?.. Он служит адъютантом в полку у моего брата Густава?

– Так точно, ваша светлость!

– И брат Густав, кажется, отзывался о нем хорошо?

– Я не рекомендовал бы вашей светлости этого человека.

– Отчего?.. Брат Густав очень хорошо отзывался о нем!

– Его превосходительство, генерал-аншеф слишком добр! – сказал Ушаков про Густава Бирона, который был награжден чином генерал-аншефа за отличие во время турецкой кампании, в Стоучанском сражении, открывшем Миниху ворота Хотина.

– Но брат Густав очень точен по службе и никогда не говорит напрасно! – возразил опять Бирон.

– Может быть, в службе? – вздохнул Ушаков. – Барон Цапф фон Цапфгаузен – безукоризненный офицер, но поведения и мнений он самых предосудительных...

– Даже предосудительных?..

– Насколько можно судить по его отзывам относительно вашей светлости.

– Что такое? – протянул Бирон, уже хмурясь.

Переходы от хорошего расположения духа к раздражительности были у него очень легки и часты, зато наоборот, от более обычной для его характера раздражительности он с большим трудом переходил опять в благодушное настроение.

Обыкновенно, когда на герцога находило это благодушное настроение, его старались поддерживать его приближенные, но Андрей Иванович Ушаков не был из тех, которые поступали так. Он, очевидно, не боялся раздражать герцога, когда это было нужно ему, начальнику Тайной канцелярии.

– Вчера вечером барон произносил в обществе двух человек и одной дамы хульные речи, отчасти на ее величество государыню императрицу и главным образом на вашу светлость.

Бирон сжал губы, что служило у него признаком готовящейся вспышки гнева.

Ушаков только этого и ждал.

– По какому поводу? – спросил герцог.

– Да по поводу того, что род баронов Цапфов фон Цапфгаузенов – древний немецкий род и известен своею храбростью.

– Ну, а Бироны?..

– А Бироны, по мнению барона Цапфа фон Цапфгаузена, получают чины только милостию императрицы, как подачки поварята на царской кухне.

– Он так и сказал это? – воскликнул Бирон.

– Так и сказал, ваша светлость, и привел в пример братьев вашей светлости, Густава и Карла.

Родовитость была самым больным местом для Эрнста Иоганна Бирона, дед которого был простым конюхом. Сам немец по происхождению, герцог покровительствовал немцам и при русском дворе как своим единоплеменникам, но это не мешало ему в душе питать самую непримиримую ненависть к родовитым дворянским немецким семьям из зависти, что он не мог принадлежать к ним. Для герцога Бирона не было большего оскорбления, как если кто-нибудь из представителей этих семей отзывался пренебрежительно о нем или о его братьях.

– Но это – неправда! – воскликнул он. – Ведь мой брат Густав заслужил свой чин на поле сражения, где отличился... Скажите вашему барону Цапфу, что он – мальчишка, не нюхавший пороха, а мой брат Густав...

– Но он особенно настаивал, ваша светлость, на генерале Карле...

– Брат Карл! – почти уже закричал Бирон. – Но мой брат Карл был уже при императоре Петре на службе в офицерском чине и лично храбростью выделился в глазах начальства! Он был на войне против шведов, служил в польских войсках и сам заслужил себе чин подполковника. В тридцать четвертом году он был при осаде Данцига, в тридцать пятом был в корпусе, посланном на Рейн с фельдмаршалом Ласси, в тридцать шестом – в армии графа Миниха участвовал в крымском походе, командовал там отрядом, занял Евпаторию, а на обратном пути армии в Россию начальствовал ее арьергардом³ и так далее, и так далее... Брат Карл – смелый воин, всю жизнь сражавшийся за Россию, а барон Цапф...

– Он только кутил по гербергам пока... – подсказал Андрей Иванович.

– А-а, он кутил по гербергам!.. Хорошо!.. Я покажу ему, как пьянствовать и говорить всякий вздор! Я сам поговорю о нем с Густавом!..

– Значит, веру словам такого человека давать нельзя?

– Какого человека?

– Барона Цапфа фон Цапфгаузена.

– Да кто же может поверить этому лгуну?

– Я в таком смысле и заготовил доклад, – и Ушаков почтительно подал четко и с вывертом переписанную бумагу Бирону.

Тот взял перо и написал: «Утверждаю. Бирон».

– Еще что? – спросил герцог тоном, не обещавшим ничего хорошего.

– Больше ничего, ваша светлость! – поспешил проговорить Ушаков, по опыту зная, что надо было кончать как можно скорее разговор и доклад с герцогом Бироном, когда тот приходил в такое раздраженное состояние, как теперь.

– Можете идти! – коротко проговорил Бирон. Ушаков встал, раскланялся и вышел из комнаты. Пропустивший его мимо себя на площадке лестницы Иоганн, который в продолжение всего доклада стоял в маленькой комнате, прилепившись ухом к двери кабинета, злобно поглядел вслед Андрею Ивановичу и как бы сказал сам себе:

«Он погубил барона Цапфа, чтобы выгородить своего!»

А Андрей Иванович Ушаков, как ни в чем не бывало, спустился с лестницы, как всегда невозмутимо спокойный, и в прихожей, когда ему один из гайдуков подавал плащ и шляпу, пробормотал не совсем внятно:

– Струг навыверт.

Что значило это слово или вообще значило ли оно что-нибудь – из всех находившихся в прихожей мог понять только один, одетый скороходом. Как только Ушаков пробормотал это слово, этот одетый скороходом поспешно вышел, все же остальные приняли просто, что старик-генерал так себе сболтнул, сам не зная что.

³ Все это исторически верно.

XVIII. Женщина

Замечание Иоганна было совершенно правильно. Ушаков, выгородив своего, погубил барона Цапфа фон Цапфгаузена, но при этом не произнес ни единого слова лжи и весь его доклад про барона был правдив и основывался на вполне точных и проверенных донесениях.

Позавчера был для барона неудачный день, потому что его приклеили к седлу, а потом, когда он хотел разгулять эту неприятность в загородном герберге, там произошла неприятная история с Жемчуговым. Вчера же не повезло ему еще более, и его слишком развязавшийся язык был для него, как оказалось, погибельным.

Как это вышло, барон даже себе не мог отдать хорошенько отчета. Он действительно наговорил глупостей, в которых раскаялся впоследствии.

Вчера утром он получил пригласительную записку от пани Марии Ставрошевской.

Эта пани Мария Ставрошевская была какой угодно нации, только не полька. Тип у нее был южный, говорила она хорошо только на русском языке, с московским выговором, а по-польски объяснялась плохо, но кроме того еще могла понимать и кое-как поддерживать даже разговор по-французски, по-немецки, по-английски, по-венгерски, а может быть, и еще на каких-нибудь языках.

Свою фамилию она носила по мужу, которого никто не знал и который жил, как она говорила, в Польше.

Пани Мария поселилась в Петербурге с год тому назад и якобы ждала со дня на день приезда мужа из Польши, но он не приезжал, и она жила одна, заводила знакомства, выезжала, бывала на балах, в театрах, на маскарадах и отличалась тем, что у нее долгих и определенных сношений ни с кем никогда не было. Постоянно у нее встречались все новые и новые знакомые. С одной стороны, это было странно, но с другой – такое непостоянство в отношениях было выгодно для ее репутации одинокой женщины, так как молва и сплетни не могли приплести ей никакой легкомысленной связи или увлеченья.

Ставрошевская жила довольно богато, имела слуг – правда, не крепостных, а вольнонаемных, – экипажи и хорошего повара; у нее всегда подавалось отличное вино, она умела угостить и знала толк в хороших вещах.

Жила она в лучшей части Невского, в домике-особняке, с хорошим при нем садом, где была у забора на улицу сделана вышка, так что можно было, сидя на ней, смотреть на улицу, как с балкона. На эту вышку в теплые весенние вечера выносили стол и стулья, подавали бокалы, вино со льдом, и приглашенные пани Ставрошевской проводили здесь очень мило время.

Ставрошевская, казалось, была без лет. Несмотря на свой определенно южный тип, женщины которого стареют обыкновенно рано, она не старела, но и молода не была ни в каком случае. Однако не было мужчины, знавшего ее, который не то чтобы был влюблен в нее или увлекался ею, а не стал бы с нею с первой минуты знакомства в отношении некоторой короткости, позволявшей ему воображать, что между ними существует нечто особенное и что он выделен ею из ряда других мужчин...

Барон Цапф фон Цапфгаузен был в числе прочих, хотя познакомился с пани Ставрошевской всего две недели тому назад.

Получив записку, он отправился на приглашение и застал общество сидящим на вышке у забора за вином.

– А вот и барон! – встретила его пани. – Скажите, барон, какая сегодня погода?

Она проговорила это так, будто между ними было что-то условное в этом, в сущности, нелепом вопросе, потому что она сама, сидя на воздухе, могла видеть, что погода была хороша.

Но барон сделал вид, что понимает суть и таинственность ее слов, хотя на самом деле не понимал ничего, и ответил тоже многозначительно:

– Погода бывает изменчива.

– Вот именно, вот именно! – подхватила Ставрошевская и переглянулась с сидевшим с нею рядом чрезвычайно изящным и породистым барином, точно и между ними было «нечто».

Барон стал пить вино, которое усердно подливала ему любезная хозяйка, и, желая раз-вернуться всюю, стал шутить, чтобы показать главным образом свою развязность.

Его шутки заключались в том, что он перевирал русские слова, как будто путая значение. Он спрашивал, можно ли, например, сказать про небо, что оно «тучное», когда оно покрыто тучами, и отчего про ниву говорят, что она «тучная», хотя туч на ней нет?..

Смеялась его острогам одна пани Ставрошевская; барон этим был совершенно доволен и изощрялся дальше, приставая с вопросом, можно ли назвать платье «носатым», когда оно хорошо носится?..

В самый разгар непринужденной веселости барона Цапфа фон Цапфгаузена по Невскому, мимо компании, сидевшей на вышке сада пани Ставрошевской, проехала кавалькада из нескольких человек, впереди которой ехал Митька Жемчугов.

Барон сейчас же узнал своего обидчика и даже остановился на полуслове с разинутым ртом. Он так был уверен, что Жемчугов по его слову генералу Густаву Бирону, в полку которого он служил, засажен теперь накрепко, что, когда увидел Митьку преспокойно катающимся верхом по Невскому, ничего понять не мог: как же это так – сам генерал обещал ему, что уберет этого русского, а тут – на-поди! – все это оказалось пустыми словами, и с его обидчиком церемонятся и не могут засадить какого-то Жемчугова, когда этого требует его, барона, достоинство.

У Цапфа фон Цапфгаузена всегда особенно ощущались родовая гордость и кичливость своим происхождением, когда действовало на него вино, а сегодня он выпил уже достаточно и в голове у него немного шумело.

Он был оскорблен, как это генерал Густав Бирон, его начальник, не исполнил своего слова, и начал выставлять благородство своего рода. Сравнение с темным происхождением Биронов явилось само собою, и, попав на этот предмет разговора, барон покатился дальше, как по наклонной плоскости.

Ставрошевская не останавливала, и барон, расходясь все больше и больше, дошел до того, что свободно заговорил о герцоге Бироне, а затем и о самой государыне.

На вышке за вином, слушая разглагольствования Цапфа фон Цапфгаузена, сидели долго, а когда разошлись, Ставрошевская быстро прошла к себе в дом, отворила запертое на ключ бюро и быстро написала на золотообрезной бумажке одно слово: «Струг навыверт», и сложила ее, запечатала, надресала на адресе: «Степану Ивановичу Шешковскому» и, позволив лакея, сказала ему:

– Отнести немедленно!

На другой день рано утром у Шешковского было два донесения о речах, произнесенных громогласно бароном Цапфом фон Цапфгаузенем, адъютантом полка его превосходительства генерала Густава Бирона: одно от сидевшего под забором, где была вышка, нищего, а другое – от одного из гостей пани Ставрошевской. Оба донесения были вполне тождественны, а потому и составляли доказательство «совершенное», т. е. неопровержимое.

XIX. Резолюция

Жемчугов условился с Шешковским, что придет к нему, когда он вернется от начальника, т. е. Андрея Ивановича Ушакова, после доклада того у герцога Бирона.

Нельзя сказать, чтобы Митька чувствовал себя вполне спокойным. Тревожило и собственное дело по доносу на него барона Цапфа, окончательное решение которого все-таки зависело от самого Бирона; но главную и серьезную тревогу ощущал он в отношении запертого в каземате Тайной канцелярии Соболева.

Вчера ночью ему под влиянием успокоительных заверений Шешковского казалось, что положение Соболева не так уж опасно, но сейчас, когда он пораздумал и обсудил более спокойно, он волей-неволей пришел к заключению, что освободить Соболева не только трудно, а, пожалуй, и вовсе невозможно. По крайней мере, он не мог себе представить такое стечение обстоятельств, при котором можно было, хотя бы и создав их искусственно, вызволить несчастного молодого человека. Бирон, очевидно, сам заинтересован равным образом тем, чтобы стереть с лица земли Соболева как слишком назойливого и непрошеного свидетеля его ночных походов.

Жемчугов не мог дожидаться назначенного часа, отправился к Шешковскому ранее и, к крайнему своему удивлению, застал его уже дома.

– Ты что же это? Уже вернулся от начальника? – спросил Жемчугов, входя запыхавшись.

– Доклад был недолгий, – ответил Шешковский. – Только о бароне!

– Ну, и что же?

– Велено ни одному слову его не верить, так что его оговор на тебя недействителен, а самому ему достанется за дурацкие речи... Словом, с бароном кончено!

– Ну, а Соболев?

– С Соболевым велено покончить...

– Совсем?

– Совсем.

– Я так и думал! – проговорил, бледнея, Жемчугов. – Да иначе и быть не могло!.. Значит, все кончено?..

– Ну да, кончено!..

Митька как был, так и сел на первый попавшийся стул.

– Жаль беднягу! – сказал он.

– Да постой! Ты, собственно, чего?

– Как чего?.. Ведь если приказано покончить с Соболевым, так, значит, для него все пропало, а уж помимо того, что он был бы нужен сейчас для дела, у меня и приязнь к нему, как к приятелю.

– Ну, – протянул Шешковский, – полагаю, особенных неприятностей ему все-таки от нас не будет!

– Ты думаешь?

Шешковский кивнул утвердительно головой.

– Но как же это может быть? – стал спрашивать Жемчугов. – Я как ни ломал головы, ничего придумать не мог... А что же можно сделать теперь, когда резолюция о нем поставлена?

– Исполнить резолюцию в точности!

– Ничего не понимаю!

– А это, видно, оттого, что ты себе голову ломал, и она у тебя, очевидно, сломана. А дело очень просто: ведь имени твоего Соболева нигде пока в бумагах у нас нет.

– В бумагах нет?

– Ну, да! Ведь вчера записано только одно его показание, а записывал его я, и вместо «Соболев» везде написал, как бы по ошибке, «Зоборев»!.. Счастье его, что его никто не видал, кроме картавого Иоганна! Ну, а Иоганн близорук.

– Я все-таки ничего не понимаю! Ну, хорошо! Тут как-нибудь Соболева можно освободить, если вместо него обвиняется Зоборев. Но ведь Зоборева-то этого все-таки надо найти, для того чтобы исполнить резолюцию?

– Велика штука!.. Да первый же подлежащий смертной казни негодяй с подходящей фамилией – не Зоборев, так Зубарев или что-нибудь в этом роде – примет на себя эту вину, если ему пообещают вместо смерти ссылку.

– Да, вот оно как! Знаешь, это гениально придумано.

– Надо только, чтобы сам Соболев не болтал.

– Тут есть один риск.

– Какой?

– Если он попадется как-нибудь на глаза Иоганну, тот, как ни близорук, все-таки может узнать его.

– Для этого твоему приятелю лучше было бы уехать.

– Ну, уехать он не согласится.

– Его согласия нечего спрашивать! Кажется, у нас достаточно возможности, чтобы заставить его делать то, что мы хотим.

– Но ведь если он уедет, то мы лишимся одного из главных помощников в этом деле, на которого мы можем рассчитывать. Его сумасшедшая влюбленность, из-за которой он ни за что не оставит Петербурга, может оказать нам серьезные услуги.

– С тобой нынче говорить нельзя! Ну, конечно, Соболев должен уехать только для вида, а его переодетым надо поселить в какой-нибудь лачуге возле заколоченного дома, чтобы он наблюдал за этим домом. Полагаю, он выполнит это с отличным усердием?

– О, да, это он выполнит. Только весь вопрос: как переодеть его и под видом кого поселить возле дома?

– Ну, уж это будет твое дело! Ты распорядись, как знаешь.

– Ну, а как же из каземата? Разве его так просто можно будет выпустить?

– Из каземата надо будет ему бежать... Это опять уж твое будет дело!

– Ну, что ж, это дело не сложное!.. Надо только перевести его в крайний номер, где подъемная плита с ходом.

– Ну, да! да!.. Разумеется! – согласился Шешковский, и таким образом все было решено.

XX. Пирушка

В небольшой горнице с кирпичным полом на обитых раскрашенной под деревья и зверей парусиной табуретах сидело несколько человек. На столе возвышался огромный жбан с пивом, стояли стаканы, кружки и бутылки с вином.

На первый взгляд, это была пьяная пирушка, судя по развязным позам, расстегнутым камзолам и беспорядку, царившему на столе.

Эту картину сверху освещали шесть восковых свечей, которые были вставлены в подсвечники, вделанные в железный круг, подвешенный на цепях к потолку.

Но все это казалось пьяной пирушкой лишь на первый взгляд. Вино было расплескано и разлито по стаканам, но его не пили... Лица были разгорячены, и глаза блестели, но не от вина...

Благодаря этой обстановке трудно было предположить, что здесь собрались заговорщики.

Это не было ни подземелье, ни какой-нибудь таинственный замок, а, напротив, самое обыкновенное жилье обыкновенного обывателя, с отпертой дверью, и именно поэтому трудно было предположить, что тут собралась не веселая компания для разгульного времяпровождения, а люди, задумывающие серьезное дело.

И насколько это серьезное дело не соответствовало попойке, настолько эта попойка предохраняла от всяких подозрений. Людям, умеющим действовать, скрываться не надо; необходимо только уметь скрыть свои действия.

Один из сидевших за столом сказал:

– Как угодно, а я считаю, что наше дело проиграно!

– То есть как проиграно?

– Немцев нам не побороть!

– Ты думаешь, Россия так-таки навсегда в их руках и останется?

– Ах, не знаю я ничего!.. Вижу только, что Бирон держится как ниспосланное свыше наказание, словно язва египетская, и ничего с ним нельзя сделать!

– Да неужели нельзя свалить его?

– Нельзя. Держится он, что ни делали! Уж на что Волынский повел дело, а и он потерпел неудачу, и все осталось по-прежнему.

– Хуже прежнего!

– Так дальше жить нельзя!.. Я не о себе говорю – мне что ж! – но мне за людей обидно... ведь это иго хуже татарского!..

– Взять да разом и кончить!.. Что с ним церемониться!

– Не говори вздора-пустяка!.. Если б можно было – давно кончили бы.

– Надо прямо народ поднять.

– Прошли, брат, те времена, когда перевороты делались народным возмущением.

Нынче ничего этим не добьешься...

– Войско надо на свою сторону перетянуть...

– Разве оно не на нашей стороне?

– В войске ропот на немцев идет большой.

– Наверху там сидят немцы, бироновцы, вот и ничего с войском и не сделаешь.

– Я говорю, наше дело проиграно.

– Позвольте, господа! Но что мы можем сделать? Ну, конечно, мы все умереть готовы хоть сейчас, я первый себя не пощажу, и ты, и ты, и все мы готовы умереть... Но и только... Погиб Волынский, погибнем и мы... А суть в том, что после Волынского там, наверху,

никого не осталось, кто мог бы идти с нами. Все преданы Бирону и смотрят из его рук... Россия продана, и на этот раз разрушение ее неминуемо.

– Ну, если историю вспомнить, то не впервой на Руси лихолетье – выходили до сих пор, авось, и с Бироном справимся.

– Не справимся!.. На этот раз разрушение, говорю, неминуемо.

– Ведь в самом деле, что ж нас – маленькая горсточка, а что же мы можем сделать?

– Погодите, господа! Я думаю, что не маленькая нас горсточка. Одни мы что ли русские? Или больше ни у кого уже сердца русского нет? Да что вы!.. Много народа чувствует так же, как мы. Только начать следует, а там и пойдет...

– Начать, так начать!.. Вот это – дело!..

– Дело! – подхватили несколько голосов сразу.

– И то правда! Что ж ждать? Все равно порем...

– Погодите, господа!..

– Чего годить-то? Не трусить... Начнем, а там пусть пристанут к нам другие, а если не пристанут, все равно пример покажем.

– Позвольте минуту терпения! Позвольте просить вас, господа, выслушать, – заговорил сидевший до сих пор молча на углу стола.

Это был Жемчугов.

– Тсс... Митька говорит! Пусть Митька скажет! – слышались голоса.

– Я понимаю вас, – начал Митька, – и вполне разделяю вашу горячность. Если бы мы действительно дошли до отчаяния, то иначе и поступить нельзя было бы, ибо примириться с тем, что творится теперь, никто из нас не может... Но такой крайний шаг еще преждевременен. Я знаю, что теперь невыносимо, что мы готовы служить и повиноваться государыне, венчанной на царство и на священную власть, но не стерпим повиновения пред временщиком, потому что временщик – такой же простой смертный, как и мы, и служить ему мы не станем...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.